

ТЕДА СКОЧПОЛ



ГОСУДАРСТВА
И СОЦИАЛЬНЫЕ
революции
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ФРАНЦИИ, РОССИИ И КИТАЯ

Теда Скочпол

**Государства и социальные
революции. Сравнительный
анализ Франции, России и Китая**

«Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»

1979

УДК 316.2
ББК 60.51

Скочпол Т.

Государства и социальные революции. Сравнительный анализ Франции, России и Китая / Т. Скочпол — «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара», 1979

ISBN 978-5-93255-491-3

От Франции 1790-х гг. до Вьетнама 1970-х гг. социальные революции были редкими, но грандиозными по своему значению событиями мировой истории. Почему социальные революции произошли в одних странах, но не в других? Как дореволюционные режимы вошли в состояние кризиса? Книга профессора Гарвардского университета Теда Скочпол «Государства и социальные революции» задает новую систему координат для анализа причин, конфликтов и итогов революций. Исследование соединяет новаторские теоретические подходы с глубоким, скрупулезным сравнительно-историческим анализом французской революции с 1787 г. до начала 1800-х гг., русской революции с 1917 г. вплоть до 1930-х гг. и китайской революции с 1911 г. по 1960-е гг. Теда Скочпол демонстрирует, каким образом сочетание таких факторов, как государственные структуры, внешнеполитические и внешнеэкономические силы и отношения классов, позволяет объяснить истоки социальных революций и их свершения. Считая, что существующие теории революции, как марксистские, так и немарксистские, недостаточны для объяснения их реальных исторических закономерностей, автор призывает нас взглянуть на революции по-новому. Прежде всего она настаивает на том, что государства, рассматриваемые как организации, осуществляющие управление и принуждение, потенциально автономные от классовых интересов и контроля со стороны классов, должны стать главным элементом в объяснениях революций.

УДК 316.2
ББК 60.51

ISBN 978-5-93255-491-3

© Скочпол Т., 1979

© Институт экономической политики
имени Е.Т. Гайдара, 1979

Содержание

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Предисловие | 7 |
| Введение | 12 |
| Глава 1 | 12 |
| Структурная перспектива | 23 |
| Международный и всемирно-исторический контексты | 28 |
| Потенциальная автономия государства | 33 |
| Сравнительно-исторический метод | 41 |
| Почему Франция, Россия и Китай? | 48 |
| Часть I | 52 |
| Глава 2 | 52 |
| Франция при Старом порядке: противоречия абсолютизма Бурбонов | 56 |
| Китай под властью маньчжуров: от Поднебесной империи до падения имперской системы | 72 |
| Имперская Россия: отсталая великая держава | 85 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 95 |

Теда Скочпол
Государства и социальные
революции. Сравнительный
анализ Франции, России и Китая
Посвящается Биллу

Предисловие

Одни книги предлагают свежий фактический материал, другие – теоретические аргументы, позволяющие читателю увидеть старые проблемы в новом свете. Эта работа определено относится к последним. Она предлагает концептуальные рамки для анализа социально-революционных трансформаций в мировой истории Нового времени. В ней также используется сравнительно-исторический метод для разработки объяснений причин и результатов французской революции 1787–1800 гг., русской революции 1917–1921 гг. и китайской революции 1911–1949 гг. В первой главе обозначены принципы анализа, разработанные путем критического переосмысления исходных постулатов и типов объяснения, которые являются общими для наиболее часто используемых теорий революции. Эти принципы предназначены для того, чтобы дать новые ориентиры нашему пониманию того, что характерно для революций, как они действительно происходили в истории и что входит в круг проблем при их изучении. Оставшаяся же часть книги посвящена практической реализации программы Главы 1, требующей новых видов объяснительных аргументов. В Части I раскрываются истоки революционных кризисов и конфликтов во Франции, России и Китае путем исследования государств, классовых структур и международных положений старых порядков: государства Бурбонов, царской России и Поднебесной империи. Особое значение придается тому, каким образом государства Старого порядка оказались в состоянии кризиса, а также вспышкам крестьянских восстаний в ходе революционных междоусобиц. Далее, в Части II, прослеживается ход самих революций от первоначальных возмущений до консолидации относительно стабильных и особым образом структурированных новых порядков: наполеоновского во Франции, сталинского в России и коммунистического с местной спецификой в Китае с середины 1950-х гг. В этой части особое внимание уделяется усилиям революционного лидерства в направлении государственного строительства, а также структурам и деятельности новых государственных организаций в революционных обществах. На длинном пути от старых до новых порядков французская, русская и китайская революции рассматриваются как три сопоставимых примера единой, последовательной социально-революционной модели. В результате сходства, и специфика этих революций освещаются и объясняются путем, который несколько расходится с прежними теоретическими и историческими дискуссиями.

Книги рождаются в уникальных условиях из опыта их авторов, и эта – не исключение. Ее идеи зрели во мне во время обучения в Гарвардском университете в начале 1970-х гг. Это было время (какими бы далекими ни казались его отголоски сейчас), когда политическая ангажированность многих студентов была очень велика, и я не была исключением. Соединенные Штаты вели беспощадную войну против вьетнамской революции, в то время как внутри страны движения за расовую справедливость и немедленное окончание военного вмешательства за рубежом оспаривали, что является хорошим, а что плохим для нашей собственной политической системы. Это время, разумеется, поспособствовало моему желанию переосмыслить революционные изменения. Именно в эти годы во мне созрела приверженность идеалам демократического социализма. Но было бы ошибкой предполагать, что «Государства и социальные революции» прямо обязаны своим появлением повседневной вовлеченности в политику. Это не так. Они совершенствовались, можно сказать, «в башне из слоновой кости» – в тиши библиотеки и кабинета. В аспирантуре я изучала макросоциологическую теорию, сравнительную социальную и политическую историю. Пересечение этих исследовательских полей порождало ставящие в тупик вопросы. Мои попытки сформулировать ответы на эти сложные вопросы и затем проследовать дальше, к выводам, вытекающим из этих ответов, привели меня, через ряд этапов, к представленным здесь аргументации и анализу.

Например, я столкнулась с проблемой Южной Африки. История этой несчастной страны поразила меня и как очевидное опровержение парсонсианских структурно-функциональных объяснений социального порядка и изменений, и как серьезный вызов общепринятым и обнадеживающим предсказаниям о том, что массовое недовольство с неизбежностью приведет к революции против вопиюще репрессивного режима *апартеида*. Триумф либеральной справедливости не представлялся неизбежным. Марксистский классовый анализ произвел на меня впечатление более полезного, по сравнению со структурным функционализмом или теорией относительной депривации, для понимания положения небелого населения Южной Африки и обнаружения долгосрочных тенденций в социально-экономических изменениях. Но, работая строго в категориях классового анализа, было трудно концептуализировать, не говоря уже о том, чтобы точно объяснить, структуры южноафриканского государства и политическую роль африканеров. А именно они, по всей видимости, были ключом к пониманию того, почему социальная революция не произошла (или в скором времени не произойдет) в Южной Африке.

Другим исходным опытом, повлиявшим на меня впоследствии, было длительное, глубинное исследование исторических истоков китайской революции. Чтобы структурировать свою исследовательскую программу, я сравнила и попыталась объяснить относительные успехи и провалы Тайпинского восстания, националистического движения Гоминьдан и Коммунистической партии Китая, рассматривая их все в исторически изменяющемся всеобъемлющем контексте китайского общества. Глубоко очарованная позднеимперским и современным Китаем, по итогам этого исследования я стала глубоким скептиком в вопросе о применимости (к Китаю, а возможно, также и к другим аграрным государствам) общепринятых категорий социальных наук, таких как «традиционный» или «феодальный». Я также убедилась в том, что причины революций могут быть поняты только при рассмотрении конкретных взаимосвязей между классовыми и государственными структурами и сложных взаимодействий внутренних и международных процессов.

Если большинство исследователей, занимающихся сравнительными исследованиями революций, двигались, так сказать, с Запада на Восток (истолковывая русскую революцию в категориях французской или китайскую в категориях русской), то мое интеллектуальное путешествие вокруг света происходило в противоположном направлении. От исследований Китая я перешла к Франции в рамках общей программы сравнительного исследования политического развития Западной Европы. Хотя я понимала, что Франция «должна быть» похожей на Англию, Старый порядок французского абсолютизма казался во многих отношениях похожим на имперский Китай. Я также выявила фундаментальное сходство революционных процессов во Франции и Китае. В обеих странах они начинались с мятежей землевладельческих высших классов против абсолютистской монархии, сопровождались крестьянскими восстаниями и завершились более централизованными и бюрократическими новыми порядками. И наконец, я пришла к пониманию Старого порядка и революционной России в тех же аналитических категориях, что разработала для Китая и Франции. Особое внимание, уделенное изучению аграрных структур и государственного строительства, оказалось весьма плодотворным для понимания судеб этой «пролетарской» революции от 1917 до 1921 г. и 1930-х гг.

Следует отметить еще одну особенность моего подхода к систематическому исследованию революций. В отличие от большинства социологов, работающих в этой области, я получила очень много знаний об истории реальных революций *до того*, как приступила к широкому знакомству с литературой по социальным наукам, претендующей на то, чтобы объяснить революции теоретически. Изучив эту литературу, я быстро в ней разочаровалась. Революционный процесс преподносился в ней таким образом, который весьма слабо соответствовал известным мне историческим событиям. А причинно-следственные объяснения казались либо не релевантными, либо откровенно неправильными, учитывая то, что я знала о сходстве и различиях между странами, в которых революции произошли, в отличие от тех, в которых их не было.

Вскоре я решила (по крайней мере, к собственному удовлетворению) что фундаментальной проблемой было вот что: теории в социальных науках выводили свои объяснения революций из моделей того, как политический протест и изменения должны в идеале происходить в либерально-демократических или капиталистических обществах. Поэтому немарксистские теории имели тенденцию рассматривать революции как особенно радикальные и идеологизированные варианты типичных реформистских общественных движений, а марксистские – видели в них классовое действие, возглавляемое буржуазией или пролетариатом. Неудивительно, – сказала я себе, – что эти теории так мало давали для понимания причин и достижений революций в преимущественно аграрных странах с абсолютистско-монархическими режимами и крестьянством в основе социальной структуры.

Из этой интеллектуальной смеси мне явился возможный проект, кульминацией которого стала эта книга: использовать сравнение французской, русской и китайской революций и некоторые их сопоставления с другими странами для того, чтобы пояснить мою критику несостоятельности имеющихся теорий революций, а также разработать альтернативный теоретический подход и объяснительные гипотезы. Хотя я отвергла исходные допущения и существенные аргументы известных мне теорий революции, у меня по-прежнему было желание пояснить ту общую логику, которая работала вопреки прочим различиям во всех изучаемых мною основных революциях. Сравнительно-исторический анализ представлялся идеальным средством для этого.

К счастью, те три революции, которые я хотела исследовать на основе сравнительного анализа, уже были хорошо изучены историками и регионоведами. Большой объем существующей литературы может быть головной болью для специалиста, желающего внести новый вклад на основе ранее не открытых или недостаточно разработанных первичных данных. Но для социолога-компаративиста это идеальная ситуация. Сравнительно-исторические проекты неизбежно и почти полностью заимствуют данные из вторичных источников – то есть из исследовательских монографий и того синтеза, который уже достигнут историками, регионоведами и культурологами и существует в виде опубликованных ими журнальных статей и книг. Задача специалиста по сравнительной истории (и его возможный исследовательский вклад) состоит не в выявлении новых данных о конкретных аспектах больших исторических периодов и разнообразных регионов, обозреваемых в сравнительном исследовании, но скорее в установлении того, представляет ли интерес и валидна ли, при прочих равных условиях, общая аргументация относительно причинно-следственных закономерностей, проявляющихся в различных исторических ситуациях. У компаративиста нет ни времени, ни (всех) должных умений для осуществления первичных исследований, с необходимостью составляющих то основание, на которых строятся сравнительные исследования. Напротив, компаративист должен сосредоточивать внимание на поиске и систематическом изучении публикаций специалистов, касающихся тех вопросов, которые по теоретическим соображениям и в соответствии с логикой сравнительного анализа определяются в качестве важных. Если, как это часто бывает, вопросы, обсуждаемые специалистами относительно той или иной исторической эпохи или события, – не совсем те, что представляются наиболее важными в сравнительной перспективе, то аналитик-компаративист должен быть готов к тому, чтобы адаптировать данные, имеющиеся в работах специалистов, для аналитических целей, несколько отклоняющихся от тех, в рамках которых они первоначально рассматривались. И компаративист должен действовать систематически, насколько только это возможно, в поисках информации по одной и той же теме от ситуации к ситуации, даже несмотря на то, что специалисты, скорее всего, будут выдвигать на первый план разные темы в своих исследованиях и полемике, от страны к стране. Очевидно, что работа компаративиста становится возможной только *после* того, как специалистами будет создана обширная первичная литература. Только в этом случае компаративист может попытаться найти, по край-

ней мере, какой-то материал, относящийся к каждой теме, исследование которой продиктовано сравнительной, объяснительной аргументацией, которую он или она пытается разработать.

Как должна продемонстрировать библиография к этой книге, я имела возможность опираться на такие обширные источники о Франции, России и Китае. Литература по каждому из примеров обширна и глубока, она включает множество книг и статей, изначально опубликованных на английском или французском (двух языках, на которых я лучше всего читаю), или переведенных на них. За редкими исключениями, объясняемыми малым интересом к тем или иным темам в той или иной исторической литературе, те препятствия, которые стояли передо мной, не были вызваны трудностями в обнаружении базовой информации. Они скорее выражались в необходимости изучить огромные массивы исторической литературы, правильно взвесить и использовать разработки специалистов для того, чтобы развить последовательную сравнительно-историческую аргументацию. Насколько хорошо я справилась с этими препятствиями, судить самим читателям (включая историков и регионоведов). Для себя я буду удовлетворена, если эта книга в какой-то мере стимулирует дискуссию и вдохновит дальнейшие исследования, как среди людей, интересующихся той или иной конкретной революцией, так и среди тех, кто хочет понять современные революции в целом, их прошлые причины и достижения и будущие перспективы. Сравнительная история вырастает из взаимодействия теории и истории и должна, в свою очередь, способствовать дальнейшему обогащению каждой из них.

Разработка и переработка аргументации в этой книге на протяжении последних нескольких лет часто ощущалась как бесконечная борьба с гигантским паззлом. Но на самом деле многие люди протянули мне руку помощи, позволявшую лучше увидеть общую картину и указавшую, куда подходят конкретные части этого паззла, а куда нет.

В научном плане я в неоплатном долгу перед Баррингтоном Муром-младшим. Именно прочтение его «Социальных истоков диктатуры и демократии» еще в студенческие годы в Мичиганском государственном университете явило мне великолепный размах сравнительной истории и научило тому, что аграрные структуры и конфликты дают важные ключи к пониманию структур современной политики. Более того, на аспирантских семинарах Мура в Гарварде выковывались мои способности к сравнительному анализу, при том что мне всегда предоставлялись возможности для разработки собственных интерпретаций. Мур ставил трудные задачи и реагировал впечатляющей критикой. А студенческое братство на семинарах обеспечивало атмосферу интеллектуального оживления и поддержки. На самом деле, два друга из числа участников семинаров Мура, Мунира Чаррад и Джон Молленкопф, поддерживали меня и давали советы на всех стадиях этого проекта сравнительного исследования революций.

Другое критически важное и продолжительное воздействие было оказано Эллен Кей Тримбергер. Сначала в 1970 г. я узнала о ее схожей работе, посвященной «революциям сверху» в Японии и Турции. И с тех пор идеи Кей, ее комментарии и дружба с ней в огромной степени способствовали моему исследованию Франции, России и Китая.

Как и многие другие первые книги, эта имела свое более раннее воплощение в докторской диссертации. Эта фаза проекта, несомненно, была самой болезненной, потому что я взяла на себя слишком много в слишком короткие сроки. Тем не менее, оглядываясь назад, можно сказать, что это того стоило, так как «большая» диссертация, какой бы она ни была несовершенной, имеет больший потенциал для последующего развития в заслуживающую публикации книгу, чем более «отполированная», но узкая. Я благодарю Дэниела Белла за то, что он поощрял меня сделать почти невозможное, а также давал детальные и провокационные комментарии к черновому варианту диссертационной работы. Моим официальным научным руководителем был добрый и восхитительный Джордж Каспар Хоманс, который делал внимательные замечания и давал комментарии к моей работе и непрестанно давил на меня с тем, чтобы я закончила ее быстро. Последний член комиссии на защите моей диссертации, Сеймур Мартин Липсет, с самого начала и до конца написания работы давал проницательные рекомендации и был так

добр, что не стал ставить мне в вину то, что я закончила ее позже, чем первоначально планировалось. Финансовую поддержку в последние годы работы над докторской диссертацией мне оказывала программа аспирантских стипендий Данфорт (*Danforth Graduate Fellowship*), которая предоставляет получателям возможность свободно выбирать темы для исследования.

После того, как диссертация была закончена, Чарльз Тилли сделал ценные замечания по основным направлениям переработки текста в будущем. Коллеги и студенты в Гарварде, где я преподаю, бесчисленными способами помогали мне и стимулировали мое продвижение в работе над книгой. И как только доработка была частично завершена, многие люди оказали помощь, ускорившую завершение книги. Уолтер Липпинкотт-младший из Кембриджского университетского издательства организовал получение рецензий на рукопись еще на ранней стадии работы над ней. Результатом стал не только договор о публикации, но и очень полезные советы относительно Введения, которые дали Джон Данн и Эрик Вульф. Питер Эванс также высказал предложения, которые помогли мне доработать первую главу книги. Мэри Фулбрук предложила исследовательскую помощь при доработке главы 3, и ее старания были оплачены из малого гранта Гарвардского общества аспирантов. Я также получила поддержку Фонда исследований молодых преподавателей факультета социологии Гарвардского университета.

Несколько друзей героически пожертвовали своим временем, чтобы написать комментарии к черновому варианту книги. Эту особую помощь оказали: Сьюзан Экштейн, Хэрриет Фридманн, Уолтер Голдфранк, Питер Гуревич, Ричард Краус, Джоэл Мигдал и Джонатан Цейтлин. Вдобавок к этому Перри Андерсон, Рейнхард Бендикс, Виктория Боннел, Шмуэль Эйзенштадт, Теренс Хопкинс, Линн Хант, Баррингтон Мур-младший, Виктор Ни, Магали Сарфатти-Ларсон, Энн Свидлер и Иммануил Валлерстайн давали комментарии по поводу опубликованных мной статей по сходной проблематике, комментарии, существенно повлиявшие на мою дальнейшую работу над книгой. Нет нужды говорить о том, что всем упомянутым выше людям я обязана большей частью того, что хорошо в этой книге, и ни один из них не несет ответственности за ее недостатки.

Миссис Нелли Миллер, Луиза Амос и Линн МакКей с великолепной быстротой и точностью напечатали итоговый манускрипт. Миссис Миллер более всего заслуживает благодарностей, так как она печатала больше остальных на каждой стадии доработки текста. Мне действительно повезло, что я могла положиться на ее перфекционизм и сообразительность.

И конечно, я с любовью отмечаю помощь моего мужа, Билла Скочпола, которому посвящается эта книга. Его комментарии по поводу всех частей текста на всех стадиях доработки, его готовность помочь с практическими хлопотами, такими как печатание ранних версий диссертации и итоговая проверка цитат, его терпение по отношению к моим эмоциональным взлетам и падениям в ходе всего процесса – весь этот вклад воплощен в каждой части «Государств и социальных революций». Билл – физик-экспериментатор, но без его охотно оказанной помощи эта работа по сравнительно-исторической социологии не была бы доведена до конца.

Введение

Глава 1

Объяснение социальных революций: альтернативы существующим теориям

Революции – это локомотивы истории.

Карл Маркс

Обсуждение различных взглядов на «методологию» и «теорию» уместно только при близком и постоянном соотношении с общественно значимыми проблемами... Характер самих проблем ограничивает и подсказывает необходимые методы и концепции и способы их применения.

Чарльз Райт Миллс

Социальные революции были редкими, но исключительно важными моментами в мировой истории Нового времени. От Франции 1790-х гг. до Вьетнама середины XX в. эти революции трансформировали организацию государств, классовые структуры и господствующие идеологии. Они породили национальные государства, чье могущество и самостоятельность заметно превзошли те, что существовали в их дореволюционном прошлом, и опередили другие страны в сходных обстоятельствах. Революционная Франция внезапно стала завоевательницей континентальной Европы, а русская революция породила индустриальную и военную сверхдержаву. Мексиканская революция придала своей родине политическую силу стать одним из самых индустриализованных постколониальных государств Латинской Америки, наименее подверженным военным переворотам. После Второй мировой войны кульминация давно шедшего революционного процесса воссоединила и трансформировала раздробленный Китай. Новые социальные революции позволили деколонизованным и неоколониальным странам, таким как Вьетнам и Куба, порвать цепи крайней зависимости.

Социальные революции имели не только национальное значение. В некоторых случаях социальные революции породили модели и идеалы, отличающиеся огромным международным значением и влиянием – особенно там, где претерпевшие трансформацию общества были большими и геополитически важными, реальными или потенциальными сверхдержавами. Патристические армии революционной Франции подчинили значительную часть Европы. Даже до завоеваний и долго после военного поражения, французские революционные идеалы «свободы, равенства и братства» воспламеняли воображение, ищущее социального или национального освобождения. Это воздействие простиралось от Женевы до Санто-Доминго, от Ирландии до Латинской Америки и Индии, оно повлияло на последующих теоретиков революции от Бабёфа до Маркса, Ленина и теоретиков антиколониализма XX в. Русская революция ошеломила капиталистический Запад и обострила амбиции возникающих наций, продемонстрировав, что революционная власть может в течение двух поколений трансформировать отсталую аграрную страну во вторую индустриальную и военную сверхдержаву мира. То, чем русская революция была для первой половины XX в., для второй половины стала китайская. Премонстрировав, что партия ленинского типа может возглавить крестьянское большинство на экономических и военных фронтах, она «породила великую державу, провозглашающую себя

образцом революции и развития для беднейших стран мира»¹. «Яньаньский путь»² и «деревня против города» предложили свежие идеалы и модели и возродили надежды революционных националистов в середине XX в. Более того, как подчеркивал Илбаки Хермасси, важнейшие революции оказывают влияние не только на тех иностранцев, которые хотели бы им подражать. Они также влияют на иностранных противников революционных идеалов, которые вынуждены отвечать на вызовы или угрозы усилившихся национальных государств, порожденных революциями. «Всемирно-исторический характер революций означает, – утверждает Хермасси, – [что они] производят демонстрационный эффект за пределами своих стран, обладая потенциалом вызывать волны революции и контрреволюции как внутри обществ, так и между ними»³.

Конечно, социальные революции – не единственные силы изменений, действующие в современном мире. В рамках матрицы «Великой трансформации» (то есть всемирной коммерциализации и индустриализации, подъема национальных государств и экспансии европейской системы государств, охватившей весь мир) политические сдвиги и социально-экономические изменения имели место в каждой стране. Но в рамках этой матрицы социальные революции заслуживают особого внимания, не только из-за их чрезвычайной важности для истории государств и всего мира, но также из-за их особой модели социально-политических изменений.

Социальные революции – это быстрые, фундаментальные трансформации государственных и классовых структур общества; они сопровождаются и отчасти осуществляются низовыми восстаниями на классовой основе. От другого рода конфликтов и процессов трансформации социальные революции отличаются прежде всего комбинацией двух обстоятельств: совпадением структурных социальных изменений с классовыми восстаниями и совпадением политических трансформаций с социальными. Напротив, бунты, даже если они успешны, могут включать в себя восстание подчиненных классов – но они не приводят к структурным изменениям⁴. Политические революции трансформируют государственные структуры, но не социальные структуры, кроме того, они не обязательно совершаются путем классовой борьбы⁵. А такие процессы, как индустриализация, могут трансформировать социальные структуры, не обязательно порождая внезапные политические сдвиги или фундаментальные политико-структурные изменения (или не обязательно являясь результатом этих сдвигов или изменений). Уникальной особенностью социальных революций является то, что фундаментальные изменения в социальной структуре и в политической структуре происходят одновременно, взаимно усиливая друг друга. И эти изменения происходят посредством интенсивных социально-политических конфликтов, в которых ключевую роль играет борьба классов.

Такая концепция социальной революции отличается от многих других определений революции в ключевых аспектах. Во-первых, она определяет *сложный* предмет, требующий раз-

¹ Franz Schurmann, *Ideology and Organization in Communist China*, 2nd ed. (Berkeley: University of California Press, 1968), p. xxxv. Предыдущее предложение о Китае и России также фактически перефразирует Шурманна.

² Новая стратегия (этап, «Яньаньский период») в борьбе китайских коммунистов с началом гражданской войны после разрыва союза с Гоминьданом и «Великого похода», в широком смысле связанная с переориентацией на крестьян горных районов северного Китая и партизанскую войну. Подробнее см. главу 7. «Яньаньский путь» – термин не устоявшийся, Теда Скочпол заимствует его из работы 1971 г. Марка Селдена «Яньаньский путь в революционном Китае» для обозначения революционной стратегии китайских коммунистов, отличающейся от стратегии большевиков в России. – Прим. пер.

³ Elbaki Hermassi, "Toward a Comparative Study of Revolutions", *Comparative Studies in Society and History* 18:2 (April 1976), p. 214.

⁴ Хорошими примерами являются крестьянские восстания, которые время от времени сотрясали средневековую Европу и имперский Китай. Китайские восстания иногда добивались успеха в свержении и даже смене династий, но фундаментальным образом никогда не трансформировали социально-политическую структуру. Более подробное обсуждение и анализ см. в главе 3.

⁵ Насколько я понимаю этот исторический случай, английская революция (1640–1650 гг. и 1688–1689 гг. вместе взятые) выступает отличным примером политической революции. Ее фундаментальным достижением было установление власти парламента путем восстания некоторых групп господствующего класса против претендующих на абсолютную власть монархов. Этот случай рассматривается в главе 3 и главе 5. Еще одним хорошим примером политической, а не социальной революции является японская Реставрация Мэйдзи, которая будет рассмотрена в главе 2.

яснений, исторические примеры которого относительно малочисленны. Она делает это вместо попыток размножить число случаев, подлежащих объяснению, которые сосредоточиваются только на одной аналитической характеристике (такой как насилие или политический конфликт), характерной для массы событий различной природы и с различными последствиями⁶. Я твердо убеждена в том, что аналитическое упрощение не может привести к обоснованным, всесторонним объяснениям революций. Если мы намереваемся понять крупномасштабные конфликты и изменения, как те, что происходили во Франции с 1787 по 1800 гг., то не сможем далеко уйти, начиная с предметов для объяснения, которые фиксируют только аспекты, общие для таких революционных событий и, скажем, бунтов или переворотов. Мы должны рассматривать революции в целом, во всей их сложности.

Во-вторых, это определение делает успешную социально-политическую трансформацию (*реальное* изменение государственных и классовых структур) частью конкретизации того, что следует называть социальной революцией, а не оставляет изменение необязательным в определении «революции», как это делают многие другие исследователи⁷. Основанием тому служит моя убежденность в том, что успешные социальные революции, вероятно, возникают в иных макроструктурных и исторических контекстах, нежели неудавшиеся социальные революции либо политические трансформации, не сопровождающиеся трансформациями классовых отношений. Поскольку в моем сравнительно-историческом исследовании я намереваюсь сфокусировать внимание именно на этом вопросе (произошедшие социальные революции будут сопоставлены с неудавшимися случаями, а также с не социально-революционными трансформациями), мое понимание социальной революции с необходимостью выдвигает на первый план успешное изменение как фундаментальную характеристику ее определения.

Как тогда следует объяснять социальные революции? Куда нам следует обратиться за плодотворными методами анализа их причин и следствий? На мой взгляд, существующие в социальных науках теории революции не являются адекватными⁸. Так что главной целью данной главы будет представить и обосновать принципы и методы анализа, альтернативные тем, которые являются общими для всех (или большинства) существующих подходов. Я буду

⁶ В качестве примеров попыток объяснения революции при помощи стратегий аналитического упрощения см. различные работы, приведенные в сносках 19 и 21 к этой главе. Ниже будут подробно раскрыты идеи двух влиятельных теоретиков: Теда Гарра и Чарльза Тилли, которые включают революции в более широкие аналитические категории, хотя и разного рода.

⁷ Тремя примерами исследователей, которые рассматривают изменение в качестве необязательного, являются: Arthur L. Stinchcombe, "Stratification among Organizations and the Sociology of Revolution", in *Handbook of Organizations*, ed. James G. March (Chicago: Rand McNally, 1965), pp. 169–180; Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution* (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1978), ch. 7; D. E. H. Russell, *Rebellion, Revolution, and Armed Force* (New York: Academic Press, 1974), ch. 4. Те, кто хочет оставить изменение необязательным, обычно утверждают, что от этого ничего не теряется, так как после изучения причин всех восстаний – принесших реальные перемены или нет – можно далее начать задавать вопросы о том, какие дополнительные причины объясняют подмножество восстаний, которые действительно привели к успешным переменам. Но чтобы принять такую аргументацию, надо быть готовым исходить из того, что успешные социально-революционные трансформации не имеют отличительных, долгосрочных, структурных причин или предпосылок. Нужно исходить из допущения о том, что социальные революции – это просто политические революции или восстания масс, которые обладают некоторыми дополнительными, краткосрочными компонентами, такими как военные успехи или установка идеологических лидеров на перемены после захвата власти. Вся аргументация в этой книге строится на противоположном допущении о том, что социальные революции на самом деле имеют долгосрочные причины и что они вырастают из структурных противоречий и напряжения, внутренне присущих старым режимам.

⁸ Здесь я не претендую на то, чтобы дать обзор всей литературы по революциям в социальных науках. Такие обзоры приводятся в двух книгах: A. S. Cohan, *Theories of Revolution: An Introduction* (New York: Halsted Press, 1975); Mark N. Hagopian, *The Phenomenon of Revolution* (New York: Dodd, Mead, 1974). Полезную критику можно найти в: Isaac Kramnick, "Reflections on Revolution: Definition and Explanation in Recent Scholarship", *History and Theory* 11:1 (1972), pp. 26–63; Michael Freeman, "Review Article: Theories of Revolution", *British Journal of Political Science* 2:3 (July 1972), pp. 339–359; Barbara Salert, *Revolutions and Revolutionaries: Four Theories* (New York: Elsevier, 1976); Lawrence Stone, "Theories of Revolution", *World Politics* 18:2 (January 1966), pp. 159–176; Perez Zagorin, "Theories of Revolution in Contemporary Historiography", *Political Science Quarterly* 88:1 (March 1973), pp. 23–52; Theda Skocpol, "Explaining Revolutions: In Quest of a Social-Structural Approach", in *The Uses of Controversy in Sociology*, eds. Lewis A. Coser, Otto N. Larsen (New York: Free Press, 1976), pp. 155–175.

утверждать, что, в противоположность способам объяснения, используемым доминирующими в настоящий момент теориями, социальные революции должны анализироваться на основе структурной перспективы, уделяющей особое внимание международным контекстам и внутренним и зарубежным процессам, влияющим на распад государственных организаций старых порядков и построение новых, революционных государственных организаций. Более того, я буду доказывать, что сравнительно-исторический анализ представляет собой наиболее уместный способ разработать такие объяснения революций, которые одновременно и исторически обоснованы, и выходят за рамки единственных в своем роде случаев, давая возможность обобщения.

Чтобы облегчить дальнейшее изложение этих теоретических и методологических альтернатив, целесообразно выделить основные типы теорий революции в социальных науках, вкратце обрисовав важные характеристики каждого из них, воплощенные в исследованиях какого-либо автора, концепция которого служит типичным представителем того или иного типа теорий. Те виды теорий, которые я собираюсь резюмировать таким образом, следует называть «общими» теориями революции – то есть они представляют собой довольно широко сформулированные концептуальные схемы и гипотезы, чтобы их можно было применять для множества конкретных исторических случаев. Данная книга не представляет собой научное предприятие такого рода, к которому стремятся эти общие теории. Напротив, как и другие исторически фундированные сравнительные исследования революций (такие как «Социальные истоки диктатуры и демократии» Баррингтона Мура-младшего, «Крестьянские войны двадцатого века» Эрика Вульфа и «Современные революции» Джона Данна⁹), эта книга в основном посвящена глубокому анализу узкого ряда случаев. Но, так же как и эти родственные работы (и, возможно, даже более целенаправленно, чем последние две из них), эта книга ставит задачу не просто изложить эти случаи один за другим, но прежде всего понять и объяснить общую логику процессов, действующих в рассматриваемом ряду революций. Очевидно, что те виды концепций и гипотез, которые мы находим в общих теориях революции, потенциально применимы для объяснительных задач историка-компаративиста. В действительности, любое сравнительное исследование либо основывается на идеях, выдвигаемых в социальных науках теоретиками революции, начиная от Маркса и вплоть до более современных авторов, либо выстраивается им в пику. Таким образом, из этого следует, что краткий обзор общих теорий, хотя и не позволит нам изучить намного более богатую аргументацию, которой располагают сравнительно-исторические исследования революций, тем не менее, будет экономным способом выявить основные теоретические вопросы для дальнейшего их обсуждения.

Я полагаю, что целесообразно рассмотреть важнейшие современные теории революции социальных наук, сгруппировав их в четыре основных «семейства», к которым я последовательно обращаюсь. Очевидно, что наиболее релевантной из этих групп являются марксистские теории; ключевые идеи этой группы наилучшим образом представлены в работах самого Карла Маркса. Будучи активными сторонниками такого способа социальных изменений, марксисты выступают социальными исследователями, которые заинтересованы в наиболее последовательном осмыслении социальных революций как таковых. Разумеется, в течение бурного столетия после смерти Маркса в марксистской интеллектуальной и политической традиции возникла масса расходящихся тенденций. Последующие марксистские теоретики революции разнятся от технологических детерминистов, как Николай Бухарин (в «Историческом материализме»¹⁰), до

⁹ Barrington Moore, Jr., *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World* (Boston: Beacon Press, 1966); Мур-младший Б. Социальные истоки диктатуры и демократии: роль помещика и крестьянина в создании современного мира. Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016; Eric Wolf, *Peasant Wars of the Twentieth Century* (New York: Harper & Row, 1969); John Dunn, *Modern Revolutions: An Introduction to the Analysis of a Political Phenomenon* (Cambridge: Cambridge University Press, 1972).

¹⁰ Nikolai Bukharin, *Historical Materialism: A System of Sociology*, trans. from the 3rd Russian ed., 1921 (Ann Arbor: University

политических стратегов, таких как Ленин и Мао¹¹, западных марксистов (Георг Лукач, Антонио Грамши) и современных структуралистов, таких как Луи Альтюссер¹². Тем не менее, сам исходный подход к революциям Маркса остается непререкаемой, хотя и по-разному интерпретируемой, основой для всех этих позднейших марксистов.

Можно выделить основные элементы теории Маркса, нисколько не отрицая того, что всем этим элементам можно придавать разный вес и по-разному интерпретировать. Маркс понимал революции не как изолированные эпизоды насилия или конфликтов, но как классовые движения, вырастающие из объективных структурных противоречий внутри исторически развивающихся и по своей сути пронизанных конфликтами обществ. Для Маркса ключ к пониманию любого общества лежит в его способе производства (технологии и разделение труда) и классовых отношениях по поводу собственности и присвоения прибавочного продукта. Последние, производственные отношения, особенно важны:

Непосредственное отношение собственников условий производства к непосредственным производителям – отношение, всякая данная форма которого каждый раз естественно соответствует определенной ступени развития способа труда, а потому и общественной производительной силе последнего, – вот в чем мы всегда раскрываем самую глубокую тайну, скрытую основу всего общественного строя, а следовательно, и политической формы отношений суверенитета и зависимости, короче, всякой данной специфической формы государства¹³.

Основным источником революционных противоречий в обществе, согласно наиболее общей теоретической формулировке Маркса, является появление разрыва внутри способа производства между социальными силами и социальными отношениями производства.

На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или – что является только юридическим выражением последних – с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции¹⁴.

В свою очередь, этот разрыв находит выражение в усиливающихся классовых конфликтах. Зарождение нового способа производства в рамках существующего (капитализма внутри

of Michigan Press, 1969); Бухарин Н. И. Теория исторического материализма: популярный учебник марксистской социологии. Москва: Госиздат, 1928 (особенно гл. 7).

¹¹ См.: Robert C. Tucker, ed., *The Lenin Anthology* (New York: Norton, 1975), особенно части 1–3; Stuart R. Schram, ed., *The Political Thought of Mao Tse-tung*, rev. and enlarged ed. (New York: Praeger, 1969), особенно части 2–6. Прекрасное изложение основ ленинской и маоистской теорий революции можно найти в: Cohan, *Theories of Revolution*, ch. 5.

¹² См. в особенности: Georg Lukacs, *History and Class Consciousness*, trans. Rodney Livingstone (Cambridge: The MIT Press, 1971); Лукач Г. История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике. Москва: Логос-Альтерра, 2003; Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, ed. and trans. Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (New York: International Publishers, 1971); Грамши А. Тюремные тетради (избранное). Москва: Иностранная литература, 1959; Louis Althusser, "Contradiction and Overdetermination", in *For Marx*, ed. L. Althusser, trans. Ben Brewster (New York: Vintage Books, 1970), pp. 87-128; Альтюссер Л. Противоречие и сверхдетерминация // За Маркса. Москва: Праксис, 2006. С. 127–186. Обзор исторического развития различных течений «западного марксизма» можно найти в: Perry Anderson, *Considerations on Western Marxism* (London: New Left Books, 1976); Андерсон П. Размышления о западном марксизме. Москва: Интер-Верко, 1991.

¹³ Karl Marx, *Capital* (New York: International Publishers, 1967), vol. 3, *The Process of Capitalist Production as a Whole*, ed. Frederick Engels, p. 791; Маркс К. Капитал. Т. 3 // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 25. Ч. II. Москва: Издательство политической литературы, 1955–1974. С. 354.

¹⁴ Lewis S. Feuer, *Marx and Engels: Basic Writings on Politics and Philosophy* (New York: Doubleday (Anchor Books), 1959), pp. 43–44, 53. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 13. Москва: Издательство политической литературы, 1955–1974. С. VIII.

феодализма, социализма в рамках капитализма) создает динамичную основу для роста единства и сознания каждого протореволюционного класса в рамках его борьбы с существующим господствующим классом. Таким образом, «средства производства и обмена, на основе которых сложилась буржуазия, были созданы в феодальном обществе»¹⁵, что и привело к европейским буржуазным революциям.

Каждая из этих ступеней развития буржуазии сопровождалась соответствующим политическим успехом. Угнетенное сословие при господстве феодалов, вооруженная и самоуправляющаяся ассоциация в коммуне, тут – независимая городская республика, там – третье податное сословие монархии, затем, в период мануфактуры – противовес дворянству в сословной или в абсолютной монархии и главная основа крупных монархий вообще, наконец, со времени установления крупной промышленности и всемирного рынка, она завоевала себе исключительное политическое господство в современном представительном государстве¹⁶.

Подобным же образом, с установлением капитализма

... прогресс промышленности, невольным носителем которого является буржуазия, бессильная ему сопротивляться, ставит на место разъединения рабочих конкуренцией революционное объединение их посредством ассоциации¹⁷.

Пролетариат проходит различные ступени развития. Его борьба против буржуазии начинается вместе с его существованием. Сначала борьбу ведут отдельные рабочие, потом рабочие одной фабрики, затем рабочие одной отрасли труда в одной местности...

Рабочие время от времени побеждают, но эти победы лишь преходящи. Действительным результатом их борьбы является не непосредственный успех, а все шире распространяющееся объединение рабочих. Ему способствуют все растущие средства сообщения, создаваемые крупной промышленностью и устанавливающие связь между рабочими различных местностей. Лишь эта связь и требуется для того, чтобы централизовать многие местные очаги борьбы, носящей повсюду одинаковый характер, и слить их в одну национальную, классовую борьбу.

[В результате мы имеем] более или менее прикрытую гражданскую войну внутри существующего общества вплоть до того пункта, когда она превращается в открытую революцию, и пролетариат основывает свое господство посредством насильственного ниспровержения буржуазии¹⁸.

Сама революция совершается путем классового действия, возглавляемого обладающим самосознанием, растущим революционным классом (то есть буржуазией в буржуазных революциях и пролетариатом в социалистических). Возможна поддержка революционного класса другими союзническими классами, такими как крестьянство, но эти союзники никогда в полной мере не обладают классовым сознанием и политической организацией национального масштаба. В случае успеха революция знаменует собой переход от предшествующего способа производства и формы классового господства к новому способу производства, в котором новые общественные отношения производства, новые политические и идеологические формы и, в целом, господство нового революционного класса-триумфатора создают подходящие условия

¹⁵ Karl Marx and Frederick Engels, Selected Works (New York: International Publishers, 1968), p. 40; Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 4. Москва: Издательство политической литературы, 1955–1974. С. 429.

¹⁶ Ibid., p. 37; Там же. С. 426.

¹⁷ Karl Marx and Frederick Engels, Selected Works, p. 46; Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4. С. 435–436.

¹⁸ Ibid., pp. 42–43, 45; Там же. С. 431; 432–433.

для дальнейшего развития общества. Короче говоря, Маркс рассматривает революции как производные от способов производства, основанных на делении общества на классы, и как трансформирующие один способ производства в другой через классовые конфликты.

Три другие семьи теорий революции в основном сформировались намного позже, чем марксизм (хотя все они берут отдельные темы у классиков социальной теории, таких как Токвиль, Дюркгейм, Вебер, а также Маркс). Действительно, в последние два десятилетия наблюдается стремительный рост теорий революции в американской общественной науке. Эта недавняя поросль прежде всего старается понять корни социальной нестабильности и политического насилия, нередко с декларируемой целью помочь существующим властям предотвратить их или улучшить условия внутри страны и за рубежом. Тем не менее, каким бы ни было предполагаемое их применение, эти тщательно продуманные теории разработаны, чтобы либо объяснить революции как таковые, либо открыто отнести их к какому-то более широкому классу явлений, на объяснение которого эти теории претендуют. Большинство из этих новых теорий можно отнести к одному из трех основных подходов: *общепсихологическим* теориям, пытающимся объяснить революции в категориях психологических мотиваций людей для участия в политическом насилии или присоединения к оппозиционным движениям¹⁹; теориям *системного/ценностного консенсуса*, старающимся дать объяснение революциям как ожесточенной реакции идеологических движений на острый дисбаланс в социальных системах²⁰; теориям *политического конфликта*, утверждающим, что конфликт между властями и различными организованными группами, борющимися за власть, должен быть помещен в центр внимания, чтобы объяснить коллективное насилие и революции²¹. Важные и типичные теоретические работы были написаны в рамках каждого из этих подходов: «Почему люди бунтуют» Теда Гарра (общепсихологический); «Революционное изменение» Чалмерса Джонсона (теории системного/ценностного консенсуса) и «От мобилизации к революции» Чарльза Тилли (теории политического конфликта).

¹⁹ Веря в то, что революции возникают в сознании людей, эти теоретики полагаются на различные психологические теории динамики мотиваций. Некоторые основывают свои аргументы на когнитивных теориях, например: James Geschwender, "Explorations in the Theory of Social Movements and Revolution", *Social Forces* 42:2 (1968), pp. 127–135; Harry Eckstein, "On the Etiology of Internal Wars", *History and Theory* 4:2 (1965), pp. 133–163; David C. Schwartz, "A Theory of Revolutionary Behavior", in *When Men Revolt and Why*, ed. James C. Davies (New York: Free Press, 1971), pp. 109–132. Однако преобладающий и наиболее полно разработанный вариант общепсихологической теории базируется на теориях фрустрации-агрессии, объясняющих насильственное поведение. Среди важных теоретиков и работ: James C. Davies, "Toward a Theory of Revolution", *American Sociological Review* 27 (1962), pp. 5–18; James C. Davies, "The J-Curve of Rising and Declining Satisfaction as the Cause of Some Great Revolutions and a Contained Rebellion", in *Violence in America*, eds. Hugh Davis Graham and Ted Robert Gurr (New York: Signet Books, 1969), pp. 671–709; Ivo K. Feierabend and Rosalind L. Feierabend, "Systemic Conditions of Political Aggression: An Application of Frustration-Aggression Theory", in *Anger, Violence and Politics*, eds. Ivo K. Feierabend, Rosalind L. Feierabend and Ted Robert Gurr (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1972), pp. 136–183; Betty A. Nesvold, "Social Change and Political Violence: Cross-National Patterns", in *Violence in America*, eds. Davies and Gurr, pp. 60–68; Ted Robert Gurr, "A Causal Model of Civil Strife: A Comparative Analysis Using New Indices", *American Political Science Review* 62 (December 1968), pp. 1104–1124; Ted Robert Gurr, "Psychological Factors in Civil Violence", *World Politics* 20 (January 1968), pp. 245–278.

²⁰ К этой категории (помимо книги Чалмерса Джонсона, на которую я ссылаюсь в сноске 33) я отношу: Talcott Parsons, "The Processes of Change of Social Systems", in *The Social System*, Talcott Parsons (New York: Free Press, 1951), ch. 11; Anthony F. C. Wallace, "Revitalization Movements", *American Anthropologist* 58 (April 1956), pp. 264–281; Neil J. Smelser, *Theory of Collective Behavior* (New York: Free Press, 1963); Edward A. Tiryakian, "A Model of Societal Change and Its Lead Indicators", in *The Study of Total Societies*, ed. Samuel Z. Klausner (New York: Doubleday (Anchor Books), 1967), pp. 69–97.

²¹ Работы теоретиков политического конфликта включают: Anthony Oberschall, *Social Conflict and Social Movements* (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1973); Anthony Oberschall, "Rising Expectations and Political Turmoil", *Journal of Development Studies* 6:1 (October 1969), pp. 5–22; William H. Overholt, "Revolution", in *The Sociology of Political Organization* (Croton-on-Hudson, N.Y.: The Hudson Institute, 1972); D. E. R. Russell, *Rebellion, Revolution and Armed Force* (New York: Academic Press, 1974); Charles Tilly, "Does Modernization Breed Revolution?", *Comparative Politics* 5:3 (April 1973), pp. 425–447; Charles Tilly, "Revolutions and Collective Violence", in *Handbook of Political Science*, eds. Fred I. Greenstein and Nelson W. Polsby (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1975), vol. 3, *Macropolitical Theory*, pp. 483–556.

В работе «Почему люди бунтуют»²² Тед Гарр стремится разработать общую, основанную на психологии теорию величины и форм «политического насилия», определяемого как

...все виды коллективных атак против политического режима в рамках политической общины с их участниками, включая соперничающие политические группировки, равно как и их членов, – а также с их политическими курсами. Политическое насилие представляет собой ряд событий, общим свойством которых является реальное или угрожаемое применение силовых действий... Это понятие относится и к революции... Оно включает в себя также партизанские войны, государственные перевороты, бунты и мятежи²³.

Теория Гарра сложна и полна интересных нюансов в своем полном изложении, но ее сущность довольно проста: политическое насилие имеет место тогда, когда многие люди в обществе испытывают гнев, особенно если существующие культурные и практические условия стимулируют агрессию против политических целей. А гневается люди тогда, когда возникает разрыв между ценными вещами и возможностями, на которые они надеются, и вещами и возможностями, которые они в действительности получают – условие, известное как «относительная депривация». Гарр предлагает особые модели для объяснения основных форм политического насилия. Он выделяет «беспорядки», «заговор» и «внутреннюю войну». Революции включаются в категорию внутренней войны, наряду с крупномасштабным терроризмом, партизанскими войнами и гражданскими войнами. От других форм внутренние войны отличаются тем, что они более организованы, чем беспорядки, а также носят более массовый характер по сравнению с заговором. Таким образом, революции логически объясняются в основном как следствие широко распространенной, интенсивной и разносторонней депривации в обществе, затрагивающей и массы, и тех, кто стремится пополнить ряды элиты²⁴.

Работа «От мобилизации к революции» Чарльза Тилли²⁵ представляет собой, так сказать, теоретическую кульминацию подхода политического конфликта, рожденного в полемическом противостоянии с объяснениями политического насилия на основе гипотезы фрустрации-агрессии, подобными объяснению Теда Гарра. Основные контраргументы убедительны и могут быть легко сформулированы. Теоретики политического конфликта утверждают, что каким бы сильным ни было недовольство массы людей, они не могут участвовать в политическом действии (включая насилие), если не являются частью, по крайней мере, минимально организованных групп с доступом к определенным ресурсам. И даже в этом случае правительства или соперничающие группы могут успешно подавить желание участвовать в коллективном действии, сделав цену этого слишком высокой. Более того, теоретики политического конфликта заявляют, как это звучит в формулировке Тилли,

...что революции и коллективное насилие, как правило, проистекают непосредственно из главных политических процессов населения, а не выражают распространение напряжения и недовольства в нем... что конкретные требования и контртребования к существующему правительству со стороны различных мобилизованных групп важнее, нежели общая

²² Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1970); Гарр Т. Р. *Почему люди бунтуют*. Санкт-Петербург: Питер, 2005.

²³ Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel*, pp. 3–4; Гарр Т. Р. *Почему люди бунтуют*. С. 42–43.

²⁴ *Ibid.*, особенно pp. 334–47; Там же. С. 422–436.

²⁵ Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution* (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1978).

удовлетворенность или недовольство этих групп, и что притязания на существующие места в структуре власти имеют решающее значение²⁶.

На самом деле Тилли отказывается делать насилие как таковое предметом своего анализа, так как считает, что проявления коллективного насилия в реальности суть только побочные продукты нормальных процессов конкуренции групп вокруг власти и взаимоисключающих целей. Вместо этого предметом исследования служит «коллективное действие», определяемое как «совместное действие людей, преследующих общие интересы²⁷. Тилли анализирует коллективное действие с помощью двух общих моделей: «модели политической системы» и «модели мобилизации²⁸. Основные элементы государственной модели – это правительства (организации, контролирующие основные концентрированные средства принуждения в рамках населения) и группы, участвующие в борьбе за власть, включая как членов политической системы (соперников, обладающих рутинным, дешевым доступом к правительственным ресурсам) так и претендентов на вход в политическую систему (всех остальных соперников). Модель мобилизации включает переменные, разработанные для объяснения образцов коллективного действия, в которое вовлечены данные соперники. Эти переменные описывают групповые интересы, степени организации, количества ресурсов, контролируемых коллективно, а также возможностей и угроз, с которыми данные соперники сталкиваются в своих отношениях с правительством и другими группами, участвующими в борьбе за власть.

Революция для Тилли выступает особым случаем коллективного действия, в рамках которого (все) соперники сражаются за верховную политическую власть над населением и в котором претендентам удастся, по крайней мере в некоторой степени, вытеснить обладателей власти из политической системы²⁹. Согласно этой концепции, причины революционной ситуации «множественного суверенитета» («многовластия») включают следующие: во-первых, следует принимать во внимание любые долгосрочные социальные тренды, которые перемещают ресурсы от одних общественных групп к другим (особенно если реципиенты были ранее исключены из политической системы). Во-вторых, важно изучать любые среднесрочные события, такие как распространение революционных идеологий и усиление народного недовольства, которые делают весьма вероятным появление революционных борцов за верховную власть, а также поддержку их притязаний большими группами населения. И наконец,

...революционная ситуация наступает, когда ранее кроткие члены... общества сталкиваются с одновременными и полностью несовместимыми требованиями со стороны власти и со стороны альтернативной организации, претендующей на контроль над правительством – и станут подчиняться альтернативной организации. Они будут платить этой организации налоги, снабжать ее армию солдатами, обеспечивать продуктами питания ее функционеров, почитать ее символы, тратить время на службе ей или отдавать иные ресурсы, несмотря на запрет все еще существующего правительства, которому они ранее повиновались. Так начинается множественный суверенитет (многовластие)³⁰.

Успех революции, в свою очередь, зависит не только от возникновения множественного суверенитета. Он также, вероятно, зависит от «формирования коалиций между членами политической системы и соперниками, выдвигающими исключительные альтернативные притязания

²⁶ Tilly, "Does Modernization Breed Revolution?", p. 436.

²⁷ Tilly, *From Mobilization to Revolution*, p. 7.

²⁸ *Ibid.*, ch. 3.

²⁹ Tilly, *From Mobilization to Revolution*, ch. 7.

³⁰ Tilly, "Revolutions and Collective Action", in *Handbook of Political Science*, eds. Greenstein and Polsby, vol. 3, *Macropolitical Theory*, pp. 520–521.

на контроль над правительством»³¹. И успех революции определенно зависит от того, сможет ли «революционная коалиция поставить под свой контроль значительные силы»³². У революционеров, претендующих на власть, появляется возможность одержать победу и вытеснить из политической системы властей предрержащих только при наличии этих дополнительных условий.

Если Тед Гарр и Чарльз Тилли анализируют революции как особый тип политических событий, выражаемый в категориях общих теорий политического насилия или коллективного действия, то Челмерс Джонсон в «Революционном изменении»³³ по аналогии с Марксом анализирует революции из перспективы макросоциологической теории социальной интеграции и изменения. Как и изучение физиологии и патологии, утверждает Джонсон, «исследование революции неотделимо от исследования жизнеспособных, функционирующих обществ»³⁴. Черпая вдохновение у парсонсианцев, Джонсон постулирует, что нормальное, бескризисное общество должно рассматриваться как ценностно-скоординированная социальная система, функционально адаптированная к требованиям своей среды. Такая социальная система представляет собой внутренне согласованный набор институтов, выражающих и определяющих основные ценностные ориентации общества в нормах и ролях. Эти ориентации также интернализуются благодаря процессам социализации, чтобы служить личными нравственными и определяющими реальность стандартами для огромного большинства нормальных взрослых членов общества. Более того, политическая власть в обществе должна быть легитимирована через общественные ценности.

Революции и определяются, и объясняются Джонсоном на основе этой модели ценностно-скоординированной социальной системы. Насилие и изменение, утверждает Джонсон, – это отличительные черты революции: «совершить революцию означает прибегнуть к насилию в целях изменения системы; точнее, это означает целенаправленную реализацию стратегии насилия с целью повлиять на изменение в социальной структуре»³⁵. В случае успеха революции прежде всего меняют ключевые ценностные ориентации общества. И целенаправленная попытка совершить это принимает форму ценностноориентированного идеологического движения, готового использовать насилие против существующих властей. Однако такое движение вообще не может возникнуть, если существующая социальная система не вошла в состояние кризиса. А это происходит, согласно Джонсону, когда ценности и среда становятся серьезно «десинхронизованы» благодаря либо внешним, либо внутренним искажениям – особенно новым ценностям или технологиям. Когда начинается десинхронизация, люди в обществе становятся дезориентированными и, вследствие этого, открытыми для обращения к альтернативным ценностям, предлагаемым революционным движением. Если это происходит, существующие власти теряют свою легитимность и должны все в большей мере полагаться на насилие для поддержания порядка. Тем не менее, они могут успешно делать это лишь в течение некоторого времени. Если правители умны, гибки и искусны, они прибегнут к реформам для «ресинхронизации» ценностей и среды. Но если власти упорно не желают идти на компромисс, тогда системное изменение насильственным путем вместо них осуществит революция. Это происходит, как только появится некий «судьбоносный фактор», который подорвет непрочную и временную способность властей опираться на насилие.

³¹ Tilly, *From Mobilization to Revolution*, p. 213.

³² *Ibid.*, p. 212.

³³ Chalmers Johnson, *Revolutionary Change* (Boston: Little Brown, 1966). В последующем кратком изложении его теории я опираюсь в основном на главы 1–5.

³⁴ *Ibid.*, p. 3.

³⁵ Chalmers Johnson, *Revolutionary Change*, p. 57.

Превосходящая сила может отсрочить всплеск насилия; тем не менее, разделение труда, поддерживаемое силой казаков, больше не представляет собой ценностно скоординированного сообщества, и в подобной ситуации (например, такой, которая сегодня сложилась в Южной Африке [1966]) революции характерны и, *ceteris paribus*³⁶, восстание неизбежно. Это факт раскрывает... необходимость изучения структуры ценностей системы и ее проблем для того, чтобы сколько-нибудь содержательным образом осмыслить революционную ситуацию³⁷.

Успешная революция в конце концов кладет конец десинхронизации ценностей социальной системы и среды, с которой некомпетентные или упрямые власти старого режима были не в состоянии справиться. По мнению Джонсона, именно революция, а не эволюционное изменение, становится возможной и необходимой только потому, что дореволюционные власти терпят фиаско и теряют легитимность. Таким образом, теория общества и социального изменения Джонсона делает ценностные ориентации и политическую легитимность ключевыми элементами для объяснения возникновения революционных ситуаций, возможностей выбора, стоящих перед существующими властями, а также для объяснения природы и успеха революционных сил.

Даже из такого краткого обзора должно быть вполне очевидно, что в социальных науках между основными типами теорий имеют место широкие разногласия не только относительно объяснения революций, но даже в том, что касается их определения. Разумеется, данная книга не претендует на нейтралитет по отношению к этим разногласиям. Вполне очевидно, что концепция социальной революции, используемая здесь, в большой степени базируется на марксистском подходе, придающем большое значение социально-структурным изменениям и классовым конфликтам. Эта концепция не абстрагируется от проблем структурной трансформации, как это делают Гарр и Тилли, и не придает ключевого значения изменению ценностей общества в революционных переменах, как это делает Джонсон. Более того, в моем общем исследовании причин и следствий социальных революций я отклоняю объяснительные гипотезы об относительной депривации и недовольстве – именно потому, что принимаю критику этих идей, разработанную теоретиками политического конфликта. Я также оставляю в стороне (по причинам, которые станут ясны позднее в процессе развертывания аргументации) понятия системной разбалансировки, делегитимации власти и идеологического обращения к революционному мировоззрению. Вместо этого, с целью понять некоторые конфликты, свойственные социальным революциям, я буду в большей степени опираться на определенные идеи, заимствованные из марксистской перспективы и перспективы политического конфликта.

Марксистская концепция классовых отношений, укорененных в контроле над средствами производства и присвоении прибавочного продукта непосредственных производителей непродуцированными группами, на мой взгляд, является незаменимым теоретическим инструментом для выявления одного из базовых общественных противоречий. Классовые отношения всегда являются потенциальным источником структурного социального и политического конфликта, а классовые конфликты и изменения в классовых отношениях действительно играют видную роль в успешных социально-революционных трансформациях. В тех из них, которые будут детально изучаться в этой книге (речь идет о Франции, России и Китае), классовые отношения между крестьянами и помещиками будут проанализированы особенно тщательно. Эти отношения были местом подспудной напряженности, влиявшей на экономическую и политическую динамику дореволюционных старых порядков, даже в те периоды, когда классовые

³⁶ При прочих равных условиях (лат.) – Прим. пер.

³⁷ Chalmers Johnson, *Revolutionary Change*, p. 32.

конфликты открыто не вспыхивали. Более того, во время французской, русской и китайской революций крестьяне действительно открыто восставали против классовых привилегий помещиков, и эти классовые конфликты в сельской местности внесли непосредственный и опосредованный вклад в общие социально-политические трансформации, которые были достигнуты в ходе этих революций. Таким образом, ясно, что важно понять, почему и как именно эти открытые классовые конфликты развивались в ходе революций.

Для этого классовый анализ необходимо дополнить идеями теоретиков политического конфликта. Одно дело – выявлять подспудное, потенциальное напряжение, укорененное в объективных отношениях классов, понимаемых на марксистский манер. И совсем другое – понять, когда и как члены классов оказываются *в состоянии* эффективно бороться за свои интересы. Когда и как подчиненные классы могут успешно сражаться с теми, кто их эксплуатирует? А также когда и как господствующие классы оказываются способны на коллективное политическое действие? Для ответа на такие вопросы особенно плодотворна аргументация теории политического конфликта о том, что коллективное действие базируется на групповой организации и доступе к ресурсам, зачастую включающим средства принуждения. Поэтому в данной книге при анализе исторических примеров я буду не только выявлять классы и их интересы. Я также буду устанавливать наличие или отсутствие (и конкретные формы) организации и ресурсов, которыми располагают члены классов, для борьбы за свои интересы.

Таким образом, в этих конкретных отношениях я нахожу аспекты двух из существующих теоретических подходов релевантными для понимания социальных революций. Тем не менее, как ранее уже было упомянуто, основная цель этой главы не в том, чтобы оценить сильные и слабые стороны различных семейств теорий революции. Она скорее в том, чтобы оспорить ряд концепций, допущений и способов объяснения, которые выступают общими для всех существующих теорий, несмотря на их видимые различия.

В качестве альтернативы общим чертам ныне доминирующих теорий революции необходимо обозначить три основных принципа анализа. Во-первых, адекватное понимание социальных революций требует, чтобы исследователь придерживался не волюнтаристской, а структурной перспективы исследования ее причин и следствий. Все существующие теоретические подходы выстраиваются на основе волюнтаристских представлений о том, как происходят революции. Во-вторых, социальные революции не могут быть объяснены без систематического обращения к международным структурам и всемирноисторическим процессам. Однако существующие теории фокусируют внимание преимущественно или исключительно на внутригосударственных конфликтах и процессах модернизации. В-третьих, для объяснения причин и следствий социальных революций государства необходимо рассматривать как организации контроля и принуждения, потенциально автономные от социально-экономических интересов и структур (хотя и обусловленные ими). Но превалирующие в настоящее время теории революции вместо этого либо аналитически смешивают государство и общество, либо сводят политические и государственные действия к выражению социально-экономических сил и интересов.

Каждое из этих положений обладает фундаментальной значимостью, не только в качестве критики общих недостатков существующих теорий, но также как основа для анализа социальных революций в этой книге в целом. Тем самым каждое из них заслуживает систематической проработки одно за другим.

Структурная перспектива

Если отступить от споров между основными подходами к революции, то наиболее поразительным выглядит сходство самого образа всего революционного процесса, который лежит в основе и пропитывает все четыре подхода. Согласно этому общему образу, вначале изменения в социальных системах или обществах порождают поводы для недовольства, социаль-

ную дезориентацию или новые классовые или групповые интересы и потенциал для коллективной мобилизации. Затем развивается целенаправленное, массовое движение (объединенное с помощью идеологии и организации), которое затем сознательно пытается опрокинуть существующее правительство, а возможно и весь социальный порядок. В заключение, революционное движение вступает в схватку с властями или господствующим классом и, в случае победы, принимается за установление собственной власти и реализацию своей программы.

Нечто наподобие этой модели обобщенного революционного процесса как общественного движения, целенаправленно вдохновленного или управляемого, разделяется всеми теориями, которые были рассмотрены (с теми различиями, которых требуют характерные теоретические и методологические особенности каждого подхода). Ни в одной из этих перспектив ни разу не появилось сомнений в том, что необходимым каузальным условием возникновения революции выступает возникновение преднамеренного усилия – усилия, связывающего воедино лидеров и последователей, нацеленных на свержение существующего политического или социального порядка. Так, для Теда Гарра: «Во-первых, каузальная последовательность в политическом насилии – это прежде всего развитие неудовлетворенности, во-вторых, политизация этой неудовлетворенности и, наконец, в-третьих, реализация ее в насильственном действии, направленном против политических объектов и деятелей»³⁸. И, как это следует из приведенного выше резюме концепции Гарра, революции происходят, только если их лидеры намеренно организуют выражение массового недовольства. Аналогичным образом Чалмерс Джонсон делает акцент на широком распространении личностной дезориентации, за которым следует обращение к альтернативным ценностям. Их продвигает революционное идеологическое движение, которое затем сталкивается с существующими властями. Тилли сосредоточивает свое теоретическое внимание в основном на последней фазе целенаправленного революционного процесса – столкновении организованных революционеров, борющихся за верховную власть, с правительством. Но он также ссылается на психологические и идеологические причины, выдвигаемые на первый план сторонниками теории систем и относительной депривации, чтобы объяснить возникновение революционной организации и ее народную поддержку. Наконец, очевидно, что марксизм также в общем и целом придерживается некоторой разновидности исходной посылки о том, что революции делаются целенаправленными общественными движениями. Дело в том, что марксисты рассматривают возникновение (хотя и прошедшего через длительную подготовительную борьбу) организованного и обладающего самосознанием «класса для себя»³⁹ в качестве необходимого промежуточного условия для развития успешной революционной трансформации, разрешающей противоречия определенного способа производства. Более того, многие теоретические разработки в марксизме после Маркса чрезмерно выделяли наиболее волюнтаристские элементы, присущие исходной теории революций Маркса. Конечно, это неверно в отношении большинства теоретиков Второго Интернационала. Но упор на волюнтаризме был свойственен ленинизму и маоизму, с их акцентом на роли авангардной партии в организации «воли пролетариата». Он также был характерен и для таких западных марксистов, как Лукач и Грамши, которые постулировали важность классового сознания или гегемонии для превращения объективных экономических противоречий в реальные революции.

³⁸ Gurr, *Why Men Rebel*, pp. 12–13; Гарр Т. Р. Почему люди бунтуют. С. 51.

³⁹ Марксисты часто различают, с одной стороны, «класс в себе», состоящий из множества людей, объективно находящихся в сходном положении по отношению к собственности в процессе производства, но не обладающих общим политическим сознанием и организацией. С другой стороны, они приводят «класс для себя», обладающий политическим самосознанием и организацией. Знаменитым примером этого разграничения является рассмотрение Марксом французского крестьянства в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта»: Karl Marx and Frederick Engels, *Selected Works* (New York: International Publishers, 1968), pp. 171–172; Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 8. Москва: Издательство политической литературы 1955–1974. с. 207–211.

Вероятно, стоит отметить, что приверженность целенаправленному образу процесса развития революций приводит к социально-психологическим объяснениям даже тех теоретиков, которые намеревались давать социально-структурные объяснения. Поскольку, согласно этому образу, революционные кризисы происходят только (или преимущественно) в силу появления людей, которые недовольны или дезориентированы, или групп, которые можно мобилизовать для целей революции. А разрушение и трансформация Старого порядка происходят только потому, что для достижения этой цели было сформировано целенаправленное революционное движение. Вследствие этого, теоретики неумолимо подталкиваются к тому, чтобы рассматривать в качестве главных проблем людское недовольство или осознание людьми фундаментально оппозиционных целей и ценностей. К примеру, Тилли первоначально разрабатывал свою теорию коллективного действия с упором на социальную организацию групп и доступ к ресурсам в качестве четкой альтернативы социально-психологическим теориям политического насилия. Но, поскольку он определяет революционные ситуации в категориях *особой цели* (овладения верховной властью) за которую сражаются соперники, Тилли заканчивает тем, что вторит аргументации Джонсона о революционном идеологическом руководстве и гипотезе Гарра о недовольстве в качестве объяснения массовой поддержки, оказываемой революционными организациями⁴⁰. Аналогичным образом неомарксисты, по мере того, как они приходят к рассмотрению классового сознания и партийной организации в качестве ключевых проблем революции, стали все меньше интересоваться объективными, структурными условиями революций. Вместо этого, принимая как саму собой разумеющуюся адекватность марксова экономического анализа объективных социально-исторических условий для революций, они вкладывают инновационный теоретический потенциал в изучение того, что справедливо или ошибочно считается более политически податливыми субъективными условиями осуществления потенциальной революции, когда указанные выше объективные условия присутствуют.

Что неправильно в «целенаправленном» образе развития революций? Во-первых, он явно предполагает, что социальный порядок основывается, фундаментально или непосредственно, на консенсусе большинства (или низших классов) относительно того, что их потребности должны быть удовлетворены. Он предполагает, что предельным и достаточным условием для революции выступает исчезновение этой консенсусной поддержки и, наоборот, что никакой режим не может устоять, если массы раздражены. Хотя, разумеется, такие идеи не могли быть полностью приняты марксистами, они могут прокрасться косвенно, вместе с акцентом на классовое сознание или гегемонию. Гарр и Джонсон, что не удивительно, принимают эти представления совершенно открыто⁴¹. И Тилли, по сути, переходит к их версии, когда изображает власти и революционные организации как конкурентов в борьбе за поддержку народа, а выбор народа как определяющий фактор в том, разовьется или нет революционная ситуация⁴². Те не менее, конечно, любые подобные консенсусные и волюнтаристские концепции социального порядка и дезинтеграции или изменения весьма наивны. Наиболее очевидным образом они опровергаются фактом длительного существования такого вопиюще репрессивного и внутренне нелегитимного режима, как южноафриканский⁴³.

⁴⁰ См. в особенности Tilly, *Mobilization to Revolution*, pp. 202–209.

⁴¹ К примеру, Гарр утверждает, что «общественный порядок поддерживается – а он может только поддерживаться, – когда в рамках его люди обеспечены средствами, позволяющими им работать для достижения своих устремлений» (Гарр Т. Р. Почему люди бунтуют. С. 40). А для Джонсона общества, чтобы сохранять стабильность, должны быть «сообщества носителей общих ценностей».

⁴² См. сноску 30 выше. Это сноска отсылает к работе Тилли, цитата из которой уже приводилась на страницах 38–39.

⁴³ См., напр.: Herbert Adam, *Modernizing Racial Domination: South Africa's Political Dynamics* (Berkeley: University of California Press, 1971), а также Russel, *Rebellion, Revolution, and Armed Force*, chs. 1–3. Обе эти работы подчеркивают слабость и стабильность южноафриканского государства в качестве основного препятствия к революции, несмотря на недовольство и протесты «не-белого» большинства.

Что более важно, «целенаправленный» образ весьма обманчив относительно и причин, и хода социальных революций, как они реально имели место в истории. Что касается причин, безотносительно того, какие формы социальные революции могут принять в будущем (скажем, в индустриальной, либерально-демократической стране), факт состоит в том, что исторически ни одна успешная социальная революция не была «сделана» мобилизующим массы, открыто революционным движением. Как это точно сформулировал Джереми Бречер: «на самом деле революционные движения редко начинаются с революционных намерений; последние развиваются только в ходе самой борьбы»⁴⁴. Совершенно верно, что революционные организации и идеологии помогают повысить солидарность радикального авангарда до и/или во время революционных кризисов. И они очень облегчают консолидацию новых порядков. Но такие авангарды (не говоря уже об авангардах с большими, мобилизованными и идеологизированными массами последователей) ни в коей мере никогда не создавали революционных кризисов, которыми они пользовались. Вместо этого, как мы увидим в следующих главах, революционные ситуации развиваются благодаря возникновению военно-политических кризисов государства и классового господства. И только благодаря возможностям, созданным в ходе этих кризисов, революционные лидеры и восставшие массы вносили свой вклад в осуществление революционных трансформаций. Кроме этого, восставшие массы очень часто действовали самостоятельно, не будучи непосредственно организованы или идеологически воодушевлены открыто революционными лидерами и целями. Относительно причин исторических социальных революций Уэнделл Филлипс однажды совершенно справедливо отметил: «Революций не делают, революции приходят»⁴⁵.

«Целенаправленный» образ в той же степени вводит в заблуждение относительно хода и результатов исторических революций, в какой и относительно их причин. Дело в том, что он убедительно предполагает, что процессы и результаты революций могут объясняться через деятельность и намерения или интересы ключевой группы (или групп), которые начали революцию. Поэтому, хотя Гарр и не рассматривает революции как нечто помимо исключительно разрушительных действий, он настаивает, что они суть прямое следствие деятельности фрустрированных, разгневанных масс и лидеров, которые являются первоначальной причиной революции. Для Джонсона насильственная смена ценностей, осуществляемая революцией, выступает делом рук идеологического движения, выросшего внутри старой, разбалансированной социальной системы. А марксисты нередко приписывают подспудную логику революционных процессов интересам и действиям соответствующего класса-для-себя, буржуазии или пролетариата.

Но такие представления слишком все упрощают⁴⁶. На самом деле в рамках исторически произошедших революций группы, занимавшие разные позиции и по-разному мотивированные, участвовали в сложном развертывании множественных конфликтов. Эти конфликты были достаточно жестко ограничены и оформлялись существующими социально-экономическими

⁴⁴ Jeremy Brecher, *Strike!* (San Francisco: Straight Arrow Books, 1972), p. 240.

⁴⁵ Цитата Уэнделла Филлипса приведена по работе: Stephen F. Cohen, *Bukharin and the Bolshevik Revolution* (New York: Knopf, 1973), p. 336; Коэн С. Бухарин. Политическая биография 1888–1938. Москва: Прогресс, 1988. С. 402.

⁴⁶ Тилли избегает того, чтобы представлять революционные процессы и итоги как намеренное действие конкретных действующих групп, хотя не отказывается представлять причины революционных ситуаций в категориях целенаправленных движений. Причина в том, что Тилли изображает возникновение революционных ситуаций как деятельность коалиций мобилизованных групп и полагает, что такие коалиции обычно распадаются во время революций, порождая серии межгрупповых конфликтов, которые полностью не контролирует ни одна группа. Такой взгляд на революционные процессы вполне обоснован. Но представление Тилли о революционных ситуациях как вызванных коалициями, намеренно бросающими вызов существующей власти, поражает меня как преувеличивающее роль целенаправленности, по меньшей мере для тех исторических случаев, которые я наиболее пристально изучала. Для этих случаев идея стечения обстоятельств, предполагающая соединение отдельно обусловленных и не координируемых сознательно (или преднамеренно революционных) процессов и групповых усилий, представляется более полезной для исследования причин социальных революций, чем идея межгрупповой коалиции. Мои основания так полагать станут очевидными в свое время, особенно в главах 2 и 3.

и международными условиями. К тому же развивались они различным образом, в зависимости прежде всего от того, как возникала революционная ситуация. Логика этих сложных конфликтов была не подвластна ни одному из классов или групп, вне зависимости от того, какой бы центральной ни казалась его роль в ходе революционного процесса. Кроме того, революционные конфликты неизменно приводили к результатам, которых полностью никто не мог предвидеть, которые не могли служить интересам какой-либо из вовлеченных групп. Поэтому просто бессмысленно пытаться расшифровать логику процессов или результатов социальной революции, принимая волюнтаристическую перспективу или прослеживая действия отдельного класса, элиты или организации – вне зависимости от того, насколько значима ее роль как участника. Хобсбаум очень четко это выразил: «неоспоримо важная роль актеров в драме еще не означает, что они являются также драматургами, режиссерами и оформителями сцены». «Следовательно, – заключает Хобсбаум, – к теориям, которые придают чрезмерное значение волюнтаристским или субъективным элементам в революции, следует относиться настороженно»⁴⁷.

Любое валидное объяснение революции зависит от способности исследователя подняться над мнениями участников для того, чтобы найти важные закономерности, общие для данных исторических случаев, – включая общие институциональные и исторические паттерны там, где произошли революции, и аналогичные паттерны конфликта в тех процессах, благодаря которым шло их развитие. Как указывает историк Гордон Вуд:

Не то чтобы мотивы людей не имели никакого значения; благодаря им действительно совершаются события, включая революции. Но людские цели, особенно во время революций, настолько многочисленны, разнообразны и противоречивы, что их сложное взаимодействие порождает результаты, на которые никто не рассчитывал и даже не мог предвидеть. Именно на это взаимодействие и эти результаты указывают современные историки, когда столь пренебрежительно говорят об этих «основных детерминантах» и «безличных и неумолимых силах», вызывающих Революцию. Историческое объяснение, не учитывающее эти «силы», иными словами, полагающееся просто на понимание сознательных намерений акторов, тем самым будет ограниченным⁴⁸.

Чтобы объяснить социальные революции, нужно, во-первых, рассматривать в качестве проблемы возникновение (а не «создание») революционной ситуации в рамках Старого порядка. Затем нужно уметь выявлять сложное и объективно обусловленное переплетение различных действий групп, находящихся в разном положении, – переплетение, которое оформляет революционный процесс и дает начало новому порядку. Начать осмысление этой сложности можно, только сосредоточив внимание одновременно и на институционально-детерминированных ситуациях и отношениях групп в обществе, и на взаимодействии обществ в рамках развивающихся всемирно-исторических структур. Занять такую безличную и несубъективную перспективу (подчеркивающую паттерны взаимоотношений между группами и обществами) означает действовать исходя из того, что в самом общем смысле можно назвать структурной перспективой исследования социально-исторической реальности. Такая перспектива имеет важнейшее значение для анализа социальных революций.

⁴⁷ Eric Hobsbawm, “Revolution” (paper presented at the Fourteenth International Congress of Historical Sciences, San Francisco, August 1975), p. 10.

⁴⁸ Gordon Wood, “The American Revolution”, in *Revolutions: A Comparative Study*, ed. Lawrence Kaplan (New York: Vintage Books, 1973), p. 129.

Международный и всемирно-исторический контексты

Если структурная перспектива означает фокусировку на отношениях, то последние должны включать и международные отношения – в той же степени, в какой и отношения между находящимися в разных положениях группами внутри стран. Международные отношения способствовали возникновению всех социально-революционных кризисов и неизменно влияли на то, какую форму примут революционная борьба и ее результаты. На самом деле причины и достижения всех современных социальных революций должны рассматриваться в тесной связи с неравномерностью распределения капиталистического экономического развития и с формированием национальных государств в мировом масштабе. К сожалению, существующие теории революции не принимают явным образом такую перспективу. Конечно, они утверждают, что революции связаны с «модернизацией», но это подразумевает почти исключительное сосредоточение внимания на социально-экономических тенденциях и конфликтах внутри государств, рассматриваемых изолированно одно за другим.

Как отметил Рейнхард Бендикс, все концепции модернизационных процессов с необходимостью начинают с опыта Западной Европы, потому что именно там берут начало торгово-промышленные и национальные революции⁴⁹. Однако теоретические подходы, доминировавшие до недавнего времени (а именно, структурно-функциональный эволюционизм и однолинейный марксизм), делали чрезмерные обобщения на основе конкретного опыта развития Англии в XVIII – начале XIX в. По существу, модернизация понималась как внутренняя динамика страны. Экономическое развитие (понимаемое либо как технологические инновации и усиление разделения труда, либо как накопление капитала и подъем буржуазии) рассматривалось как нечто, инициировавшее систему взаимосвязанных сопутствующих изменений в других сферах жизни общества. Исходным допущением обычно является то, что каждое государство, возможно, стимулированное примером или влиянием стран опережающего развития, рано или поздно будет подвержено, в более или менее сжатой версии, того же рода базовой трансформации, которую, очевидно, испытала и Англия. Как писал в 1867 г. Маркс, «страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего»⁵⁰. Веком позже американские ученые могут выражать неуверенность относительно степени, в которой конкретно-исторические закономерности развития могут быть абсолютно одинаковыми. Но практически все они по-прежнему обрисовывают свои концепции «идеальных типов», следуя той же логике⁵¹. Представления о модернизации как внутринациональной социально-экономической динамике прекрасно сочетаются с концепциями революций как целенаправленных движений, основанных на развитии общества и способствующих ему. Возможно, быстрое и неоднородное экономическое развитие стимулирует массовые ожидания и затем их фрустрирует, порождая широко распространенное недовольство и политическое насилие, уничтожающее существующую власть. Или же социальная дифференциация обгоняет интеграцию социальной системы, основанной на ценностном консенсусе, и сокрушает ее. Это, в свою очередь, стимулирует развитие идеологических движений, которые свергают существующие власти и производят переориентацию ценностей общества. Или, воз-

⁴⁹ Reinhard Bendix, "Tradition and Modernity Reconsidered", *Comparative Studies in Society and History* 9 (1967), pp. 292–313.

⁵⁰ Предисловие к первому немецкому изданию 1 тома «Капитала» (New York: International Publishers, 1967), pp. 8–9; Маркс К. Капитал. Т. I. Предисловие // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 23. С. 9.

⁵¹ Примеры см. в: Neil J. Smelser, "Toward a Theory of Modernization", in *Essays in Sociological Explanation* (Englewood Cliffs, N.O.: Prentice-Hall, 1968), pp. 125–146; W. W. Rostow, *The Stages of Economic Growth* (Cambridge: Cambridge University Press, 1960); Marion J. Levy, *Modernization and the Structure of Society* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1965); S. N. Eisenstadt, *Modernization: Protest and Change* (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1966); Bert F. Hoselitz, "A Sociological Approach to Economic Development", in *Development and Society*, eds. David E. Novack and Robert Lekachman (New York: St. Martin's Press, 1964), pp. 150–162.

можно, зарождение нового способа производства в утробе старого создает основу для подъема нового класса, который устанавливает новый способ производства с помощью революции. В любом случае модернизация вызывает революции, меняя настроения, ценности или потенциал коллективной мобилизации всего народа или групп в обществе. И сама революция создает условия (или, по крайней мере, устраняет препятствия) для дальнейшего социально-экономического развития.

Но концепции модернизации как внутринационального социально-экономического процесса, происходящего аналогичным образом в каждой стране, не позволяют объяснить первоначальные изменения даже в Европе – и в еще меньшей степени объясняют последующие трансформации в остальном мире. С самого начала международные отношения пересекались с существовавшими до этого классовыми и политическими структурами, вызывая и оформляя как различающиеся, так и сходные трансформации в разных странах. Конечно, это верно по отношению к экономическому, торговому и промышленному развитию. В силу распространения капитализма по всему земному шару транснациональные потоки инвестиций и торговли воздействуют на все страны – хотя и неравномерным, а часто и противоположным образом. Сам первоначальный прорыв Англии к капиталистическому сельскому хозяйству и промышленности отчасти зависел от ее сильной позиции на международных рынках с XVII в. и далее. Последовавшая за ней в XIX в. индустриализация в различных странах отчасти (и различным образом) принимала ту или иную форму благодаря международным потокам товаров, мигрантов и инвестиционного капитала, а также благодаря попыткам каждого национального государства повлиять на эти потоки. Более того, по мере включения периферийных регионов мира в мировые экономические сети, выстроенные вокруг индустриально более развитых стран, ранее существовавшие в этих регионах экономические структуры и классовые отношения часто укреплялись или модифицировались таким образом, который был несовместим с дальнейшим самостоятельным и диверсифицированным ростом. Даже если условия впоследствии менялись, так что в некоторых из этих регионов стартовала индустриализация, этот процесс неизбежно шел в формах, которые весьма отличались от тех, что были характерны для более ранних национальных индустриализаций. Нет нужды принимать аргументацию о том, что экономическое развитие отдельных стран на самом деле детерминировано общей структурой и рыночной динамикой «мировой капиталистической системы». Тем не менее нужно отметить, что исторически развивающиеся международные экономические отношения всегда сильно (и по-разному) влияли на развитие экономики отдельных стран⁵².

Другого рода транснациональная структура (международная система соперничающих государств) также влияла на динамику и неравномерный ход мировой истории Нового времени. Европа была не только площадкой капиталистических экономических прорывов, но и континентальной политической структурой, в рамках которой ни одно имперское государство не контролировало всю территорию Европы и ее колоний (после 1450 г.). Экономический обмен систематически осуществлялся на территории более обширной, нежели чем та, которую когда-либо контролировало любое государство. Это означало прежде всего, что увели-

⁵² Фокусирующиеся на внутринациональных процессах теории экономической модернизации были подвергнуты убедительной критике с двух точек зрения. Одна из них нашла классическое выражение в трудах Александра Гершенкрона, чьи наиболее значимые работы собраны в: Alexander Gerschenkron, *Economic in Backwardness Historical Perspective* (Cambridge: Harvard University Press, 1966); Alexander Gerschenkron, *Continuity in History and Other Essays* (Cambridge: Harvard University Press, 1968); Гершенкрон А. *Экономическая отсталость в исторической перспективе*. Москва: ИД «Дело» РАНХиГС, 2015. Другая критическая точка зрения принадлежит теоретикам «капиталистической мир-системы», чьи взгляды обобщены в: Immanuel Wallerstein, “The Rise and Future Demise of the World Capitalist System: Concepts for Comparative Analysis”, *Comparative Studies in Society and History* 16:4 (September 1974), pp. 387–415; Daniel Chirot, *Social Change in the Twentieth Century* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1977). Теоретики мир-системного анализа особенно успешно указали на недостатки модернизационных подходов, но, в свою очередь, их собственные теоретические объяснения экономического развития были подвергнуты убедительной критике, особенно в: Robert Brenner, “The Origins of Capitalist Development: A Critique of Neo-Smithian Marxism”, *New Left Review* no. 104 (July-August 1977), pp. 25–92.

чившийся благодаря географической экспансии европейцев и развитию капитализма приток материальных ценностей никогда просто не направлялся на поддержание громоздкой имперской надстройки, растянувшейся на весь континент. Такой, в конце концов, всегда была участь богатств, генерируемых в других мир-экономиках, охватываемых политическими империями – такими как Рим и Китай. Но европейская мир-экономика была уникальна в том, что развивалась внутри системы соперничающих государств⁵³. По словам Уолтера Дорна,

...именно крайне соперничающий характер системы государств современной Европы отличает ее от политической жизни всех предыдущих и неевропейских цивилизаций мира. Ее сущность заключается в сосуществовании независимых и равных государств, чье стремление к экспансии провоцировало непрекращающиеся военные конфликты, прежде всего препятствующие постоянному подчинению остальных государств какой-либо одной державе⁵⁴.

По мере того как в Англии проходила коммерциализация и первая в истории индустриализация страны, соперничество внутри европейской системы государств форсировало модернизационные процессы по всей Европе⁵⁵. Постоянные войны внутри системы государств побуждали европейских монархов и политических деятелей к организации, централизации и повышению технической оснащенности армий и фискальных органов. Начиная со времен французской революции такие конфликты заставляли их мобилизовывать массы граждан с помощью апелляции к патриотизму. Политические процессы, в свою очередь, оказывали обратное воздействие на паттерны экономического развития, сначала через бюрократические попытки направлять или управлять индустриализацией сверху и, в конце концов, через эксплуатацию вовлеченных масс революционными режимами, как это было в Советской России.

Более того, когда начиная с XVI в. и далее Европа испытывала экономические прорывы, соревновательная динамика европейской системы государств способствовала распространению европейской «цивилизации» по всему земному шару. Первоначально конкуренция государств была одним из условий, облегчивших и способствовавших иберийской колониальной экспансии в Новом Свете. Впоследствии Англия, подстегиваемая соперничеством с Францией по всему миру, боролась за формальный контроль или фактическую гегемонию практически над всеми новыми европейскими колониями и прежними колониальными владениями в Новом Свете – и в конце концов достигла этого. К концу XIX в. соперничество большего числа примерно равных по силе европейских промышленных держав привело к разделу Африки и значительной части Азии на их колониальные владения. В конечном счете после массивных экономических и геополитических сдвигов, вызванных Второй мировой войной, эти колонии стали новыми, формально независимыми странами, теперь уже в рамках глобальной системы государств. К тому времени даже Япония и Китай, страны, традиционно остававшиеся в изоляции от Запада и избежавшие колонизации, также были полностью инкорпорированы в систему государств. По стандартам доиндустриальной эпохи, и Япония, и Китай были развитыми и могущественными аграрными государствами; оба они избежали окончательного или постоянного подчинения во многом потому, что вмешательство Запада запустило революционные восстания, кульминацией которых рано или поздно становился обширный рост оборонительных возможностей этих стран и утверждение их *в рамках* международной системы государств.

⁵³ Эти замечания относительно европейской системы государств базируются на работе: Immanuel Wallerstein, *The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century* (New York: Academic Press, 1974), ch. 1.

⁵⁴ Walter S. Dorn, *Competition for Empire* (New York: Harper & Row, 1963), p. 1.

⁵⁵ Хорошее обобщение, подчеркивающее важность конкуренции государств в ходе развития Европы, можно найти в: John Thurber Moffet, *Bureaucratization and Social Control: A Study of the Progressive Regimentation of the Western Social Order*, PhD dissertation, unpublished paper (Columbia University, Department of Sociology, 1971).

Некоторые теоретики мирового капитализма, в особенности Иммануил Валлерстайн, пытаются объяснить в категориях экономического редукционизма структуру и динамику этой (изначально европейской и впоследствии глобальной) международной системы государств⁵⁶. Для этого подобные теоретики обычно исходят из допущения, что отдельные национальные государства – это инструменты, используемые экономически господствующими группами в целях достижения ориентированного на мировой рынок внутреннего развития этих стран и достижения международных экономических преимуществ за их пределами. Но здесь мы принимаем иную перспективу, согласно которой национальные государства являются более фундаментальными организациями, приспособленными для того, чтобы поддерживать контроль над своими территориями и населением, а также принимать потенциальное или реальное участие в военном состязании с другими государствами в рамках международной системы. Международная система государств как транснациональная структура военных состязаний не была изначально создана капитализмом. На всем протяжении мировой истории Нового времени она представляет собой аналитически автономный уровень транснациональной реальности – *взаимозависимой* в своей структуре и динамике с мировым капитализмом, но не сводимой к нему⁵⁷. Военная сила и преимущества (или недостатки) государств на мировой арене не могут быть полностью объяснены в категориях их внутренних экономик или международных экономических позиций. То же относится и к таким факторам, как административная эффективность государства, политические способности к массовой мобилизации и международное географическое положение⁵⁸. Вдобавок к этому на волю и способность государств предпринимать экономические преобразования (которые также могут иметь международные последствия) влияет их военная обстановка, а также существовавшие до нее значимые в военном плане административные и политические возможности⁵⁹. Так же как капиталистическое экономическое развитие форсировало трансформации государств и международной системы, так и они, в свою очередь, оказали обратное влияние на ход и формы накопления капитала внутри государств и в мировом масштабе.

Таким образом, с самих своих европейских истоков модернизация всегда означала национальные процессы только в контексте исторически развивающихся транснациональных структур: и экономических, и военных. Исследователь может понять национальные трансформации, включая социальные революции, только путем своего рода концептуального жонглирования. До тех пор пока национальные государства и их соперничество остаются важным аспектом реальности, лучше всего (по крайней мере, для анализа феноменов, где главную роль играют государства) использовать государство/общество как базовую единицу анализа. Но нужно уделять внимание не только переменным, относящимся к внутренним по отношению к этим единицам паттернам и процессам, но и транснациональным факторам в качестве ключевых контекстуальных переменных⁶⁰.

⁵⁶ См.: Wallerstein, “Rise and Demise”; Wallerstein, *Modern World-System*, особенно главы 3 и 7. Более детальную характеристику и критику взгляда Валлерстайна на государство см. в моей статье: Theda Skocpol, “Wallerstein’s World Capitalist System: A Theoretical and Historical Critique”, *American Journal of Sociology* 82:5 (March 1977), pp. 1075–1090.

⁵⁷ Формулируя свои представления о системе государств и капитализме, я опиралась в особенности на: Charles Tilly, ed., *The Formation of National States in Western Europe* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1975); Otto Hintze, “Economics and Politics in the Age of Modern Capitalism”, in *The Historical Essays of Otto Hintze*, ed. Felix Gilbert (New York: Oxford University Press, 1975). Как пишет Хайнц, «...ни капитализм не породил современное государство, ни современное государство не породило капитализм» (р. 427). Скорее «истории государства и капитализма неразрывно взаимосвязаны... они суть две стороны, или аспекта, одного и того же исторического процесса» (р. 452).

⁵⁸ Об этом см., напр.: Tilly, *Formation of National States*; Otto Hintze, “Military Organization and the Organization of the State”, in *Historical Essays*, ed. Gilbert, pp. 178–215; Randall Collins, “Some Principles of Long-Term Social Change: The Territorial Power of States” (paper presented at the Annual Meeting of the American Sociological Association, Chicago, Illinois, September, 1977).

⁵⁹ Царская и Советская Россия, Пруссия Гогенцоллернов и Германская империя, и Япония эпохи Мэйдзи выступают прекрасной иллюстрацией справедливости этого утверждения.

⁶⁰ Эта аналитическая перспектива опирается на: Terence K. Hopkins and Immanuel Wallerstein, “The Comparative Study of

Это относится к двум разновидностям транснациональных контекстов. С одной стороны, существуют *структуры* мировой капиталистической экономики и международной системы государств, в рамках которых отдельные государства занимают различное положение. С другой стороны, есть изменения и переходы в «мировом времени», оказывающие влияние и на всемирные контексты, в которых происходят революции, и на конкретные модели и возможные варианты действий, которые революционные лидеры могут заимствовать за границей.

Вовлеченность в транснациональные структуры стран, реально или потенциально подверженных социальным революциям, значима в нескольких отношениях. Исторически неравные или соперничающие международные отношения способствовали формированию тех или иных государственных и классовых структур любой данной страны, тем самым влияя на существующие внутренние контексты, в которых возникает (или не возникает) революция. Более того, международные отношения влияют на ход событий во время реальных революций. Современные социальные революции случались только в странах, занимающих неблагоприятное положение на международной арене. В частности, реалии военной отсталости или политической зависимости решающим образом влияли на возникновение и ход социальных революций. Хотя неравное экономическое развитие всегда присутствовало на заднем плане, события внутри международной системы государств как таковой (особенно поражения в войнах или угрозы вторжения и борьба за контроль над колониями) непосредственно способствовали почти всем всплескам революционных кризисов. Способствуя подрыву существующих политических властей и государственного контроля, эти события тем самым открывали путь фундаментальным конфликтам и структурным трансформациям. Более того, баланс военных сил и конфликты на международной арене обеспечивали «пространство для маневра», необходимое для завершения и политической консолидации социальных революций. Это справедливо, поскольку эти факторы разделяли усилия или отвлекали внимание внешних врагов, заинтересованных в предотвращении успеха революции или в том, чтобы воспользоваться внутренним кризисом революционизированной нации. В конечном счете также оказывается, что итоги социальных революций всегда были жестко обусловлены не только международной политикой, но и ограничениями и возможностями мир-экономики, с которыми сталкивались вновь возникшие (революционные) режимы.

Что касается измерения «мирового времени», то некоторые аспекты «модернизации» были уникальными процессами, повлиявшими на мир в целом⁶¹. Используя государство/общество в качестве единицы анализа, можно сформулировать лишь ограниченные обобщения относительно сходных, повторяющихся национальных процессов. Но даже если это удастся сделать, следует обратить внимание на воздействие исторических последовательностей и всемирно-исторических изменений. Связанные с этим возможности сравнения и объяснения социальных революций быстро приходят на ум. Одна из таких возможностей состоит в том, что акторы более поздних революций могут испытывать влияние предшествующих; например, китайские коммунисты сознательно подражали большевикам и некоторое время напрямую получали советы и помощь российского революционного режима. Другая возможность состоит в том, что ключевые «прорывы», обладающие всемирно-историческим значением (такие, как промышленная революция или изобретение партийной организации ленинского типа) могут произойти между одной революцией и другой, в широком смысле сходной с ней. В результате создаются новые возможности или необходимые условия для развития более поздних революций, которые не были открыты или порождены ею, потому что она произошла на более ранней стадии мировой истории Нового времени.

National Societies”, *Social Science Information* 6:5 (October 1967), pp. 25–58.

⁶¹ О понятии «мирового времени» см.: Wolfram Eberhard, “Problems of Historical Sociology”, in *State and Society: A Reader*, eds. Reinhard Bendix, et al. (Berkeley: University of California Press, 1973), pp. 25–28.

Заключительное утверждение верно для обоих видов транснациональных контекстуальных влияний. Анализируя внутренние воздействия международных отношений, никогда не следует просто допускать (как это практически неизменно делают современные теоретики революции), что любые подобные факторы влияют в первую очередь на положение, нужды и идеи «народа». Это может, конечно, случаться (например, когда сдвиги в структурах международной торговли внезапно лишают работы занятых в целой отрасли промышленности). Но на самом деле именно правители государства, необходимо ориентированные на действия на международной арене, в равной степени или с большей вероятностью будут транслировать международные влияния на внутреннюю политику. Таким образом, пересечение старого (правительственного) режима и, позднее, возникающего революционного режима с международными аренами (и особенно с международной системой государств) будет самой многообещающей точкой, которой необходимо уделять внимание, чтобы понять, как эпохальная модернизационная динамика отчасти вызывает и оформляет революционные трансформации.

Ни одна обоснованная теоретическая перспектива исследования революций не может позволить себе игнорировать международные и всемирно-исторические контексты, в которых революции происходят. Если теории революций в большинстве своем до сих пор пытались игнорировать эти контексты, то это потому, что они оперировали неадекватными, сфокусированными на внутригосударственных процессах представлениями о характере модернизации и ее взаимоотношениях с революциями. Чтобы это скорректировать, в данном разделе были кратко очерчены транснациональные аспекты модернизации и выдвинуты предположения относительно того, каким образом эти аспекты значимы для анализа революций – с особым акцентом на важность международной системы государств. Этот акцент, по сути, предваряет те аргументы, которые будут выдвинуты в следующем разделе относительно важности потенциально автономных государственных организаций в социально-революционных трансформациях.

Потенциальная автономия государства

Практически всякий, кто пишет о социальных революциях, признает, что они начинаются с кризисов, имеющих отчетливо политический характер, – таких, как запутанное положение в финансах французской монархии и созыв Генеральных штатов в 1787–1789 гг. Подобным же образом всем очевидно, что развитие революций происходит через борьбу, в которой заметную роль играют организованные политические партии и фракции. Признается также, что кульминацией всего этого выступает консолидация новых государственных организаций, чья власть может быть использована не только для закрепления социально-экономических трансформаций, которые уже произошли, но и для осуществления дальнейших перемен. Никто не отрицает реальность этих политических аспектов социальных революций. Тем не менее, большинство теоретиков революции склонны рассматривать политические кризисы, которые запускают революции, либо как случайные спусковые крючки, либо как всего лишь эпифеноменальные индикаторы более фундаментальных противоречий или напряженностей в социальной структуре Старого порядка. Подобным же образом политические группы, участвующие в социально-революционных сражениях, рассматриваются как представители социальных сил. А структура и деятельность новых государственных организаций, вырастающих из социальных революций, трактуются как выражение интересов каких бы то ни было социально-экономических или социально-культурных сил, которые выходили победителями из революционных конфликтов.

Допущение, которое всегда лежит, пусть и неявно, в основе таких рассуждений, состоит в том, что политические структуры и борьба могут быть определенным образом сведены (по крайней мере в конечном счете) к социально-экономическим силам и конфликтам. Государ-

ство рассматривается как не более чем *арена*, на которой разворачиваются конфликты относительно базовых социальных и экономических интересов. Чем-то особым государство-как-политическую-арену делает то, что действующие на ней акторы прибегают к особым средствам в ходе социальных и экономических конфликтов – таким как принуждение или лозунги, апеллирующие к общему благу. В общем и целом подобный способ представления государства объединяет и либеральную, и марксистскую разновидности социальной теории. Решающая разница во взглядах между этими двумя широкими традициями состоит в том, какие средства являются отличительными для политической арены: фундаментально основанная на консенсусе легитимная власть или фундаментально принудительное господство. И эта разница соответствует различным представлениям об основах социального порядка, которых придерживается каждая из этих теоретических традиций.

Одно идеально-типическое воззрение на государство рассматривает его как арену легитимной власти, воплощенной в правилах политической игры, в государственных лидерах и политике. Последние поддерживаются определенным сочетанием нормативного консенсуса и предпочтений большинства членов общества. Конечно, такое представление полностью соответствует либеральному, плюралистическому видению общества, согласно которому оно состоит из свободно конкурирующих групп и их членов, разделяющих приверженность общим социальным ценностям. В теоретической литературе, посвященной революциям, можно найти варианты этих представлений о государстве и обществе, прежде всего в аргументации теоретика относительной депривации Теда Гарра и теоретика систем Чалмерса Джонсона. Для них в объяснении вспышки революции значимо то, теряют ли легитимность существующие власти. Это случается, когда испытывающие социальное недовольство или дезориентированные массы начинают чувствовать, что участие в насилии для них приемлемо, или иным образом усваивают новые ценности, содержащиеся в революционных идеологиях. И Гарр, и Джонсон ощущают, что государственная власть и стабильность напрямую зависят от общественных трендов и народной поддержки. Ни один из них не верит в то, что государственный аппарат принуждения может успешно подавлять (в течение длительного времени) недовольство или неодобрение большинства людей в обществе⁶². Государство в их теориях выступает аспектом либо утилитарного консенсуса (Гарр), либо ценностного консенсуса (Джонсон) в обществе. Оно может применять силу от имени народного консенсуса и легитимности, но фундаментально оно не основано на организованном принуждении.

Напротив, марксистские теоретики (а также, по большому счету, теоретик политического конфликта Чарльз Тилли) рассматривают государство как основанное на организованном принуждении. Вспомним, что важной частью модели политической системы у Тилли является правительство, определяемое как «организация, контролирующая главные, концентрированные средства принуждения в рамках населения»⁶³. Аналогичным образом Ленин, ведущий марксистский теоретик политического аспекта революций, провозглашает: «постоянное войско и полиция суть главные орудия силы государственной власти, но – разве может это быть иначе?»⁶⁴ Ни Ленин, ни (по большей части) Тилли⁶⁵ не рассматривают государственное принуждение как зависящее в своей эффективности от ценностного консенсуса или удовлетво-

⁶² У Джонсона см.: *Revolutionary Change*, p. 32. Что касается Гарра, см. сноску 41 выше, а также: *Why Men Rebel*, ch. 8; Гарр Т. Р. Почему люди бунтуют. Гл. 8.

⁶³ Tilly, *From Mobilization to Revolution*, p. 52.

⁶⁴ V. I. Lenin, "The State and Revolution" in *The Lenin Anthology*, ed. Robert C. Tucker (New York: Norton, 1975), p. 316; Ленин В. И. Государство и революция: Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 33. Москва: Издательство политической литературы, 1969. С. 9.

⁶⁵ На самом деле Тилли колеблется в вопросе о том, существует ли фундаментальная зависимость государства от поддержки народа. Его определение государства и аргументы относительно армий во время революций предполагают, что нет, но его концепция революционной ситуации как возникающей тогда, когда население поддерживает революционных претендентов на власть, несмотря на запрет существующих государственных властей, предполагает обратное.

ренности народа. И оба хорошо понимают, что государства могут подавлять народные силы и революционные движения. Поэтому неудивительно, что, объясняя успех революций, и Тилли, и Ленин делают упор на развал монополии Старого порядка на средства принуждения и создание военных сил революционерами.

Однако верно то, что марксисты и теоретики политического конфликта, подобные Тилли, столь же ошибочно, как Гарр и Джонсон, рассматривают государство в первую очередь как арену, на которой разрешаются социальные конфликты. Хотя, конечно, разрешение этих конфликтов марксисты видят в господстве, а не добровольном консенсусе. Поэтому, так или иначе, и марксисты, и Тилли рассматривают государство как систему организованного принуждения, чьей неизменной функцией является поддержка доминирующего положения господствующих классов или групп над подчиненными классами или группами.

В теории коллективного действия Тилли государство и общество буквально сливаются. Тилли обозначает и рассматривает отношения между группами в политических терминах. Он говорит не о классах или социальных группах, а о группах и альянсов «членов», обладающих властью в политической системе, и группах «претендентов», которые из нее исключены. Само его определение групп членов («любой из соперников, обладающий рутинным, мало затратным доступом к ресурсам, контролируемым правительством»⁶⁶) явно предполагает практически полное совпадение между властью господствующей группы и властью государства. Государство становится орудием групп «членов» политической системы (в своей основе принудительным), наделенных властью в рамках данной группы населения.

Теоретики классического марксизма аналитически не объединяют государство и общество. Марксисты считают, что социальный порядок основан на классовом конфликте и господстве. Государственная власть является особой разновидностью власти в обществе, не тождественной или не охватывающей собою всю власть господствующего класса. Тем не менее марксисты по-прежнему объясняют основную функцию государства в социальных категориях. Как бы ни варьировали его исторические формы, государство как таковое рассматривается как отличительная черта всех способов производства, включающих деление общества на классы. И неизменно, единственно необходимой и неизбежной функцией государства по определению является сдерживание классовых конфликтов и осуществление иных мер государственной политики для поддержки господства классов, владеющих собственностью и присваивающих прибавочный продукт⁶⁷.

Таким образом, ни в классическом марксизме, ни в теории коллективного действия Тилли государство не рассматривается как автономная структура – структура с собственной логикой и интересами, не обязательно тождественными или совпадающими с интересами господствующего в обществе класса или всего набора групп членов политической системы. Следовательно, в терминах этих теорий невозможно даже ожидать возникновения фундаментальных конфликтов интересов между существующим господствующим классом или множеством групп, с одной стороны, и правителями государства – с другой. Общество характеризуется господством и борьбой за власть между группами. И государство, основанное на концентрации средств принуждения, встраивается в общество как форма инструментального или объективного господства и объект борьбы, но не как организация-для-себя.

⁶⁶ Tilly, *From Mobilization to Revolution*, p. 52.

⁶⁷ Основы марксистской теории государства см. в: Frederick Engels, *The Origin of the Family, Private Property and the State*, reprinted in *Marx and Engels, Selected Works*; Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 21. Москва: Издательство политической литературы, 1955–1974. С. 23–178; Lenin, *The State and Revolution*, reprinted in *Lenin Anthology*, ed. Tucker; Ленин В. И. Государство и революция: Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Ralph Miliband, “Marx and the State”, in Karl Marx, ed. Tom Bottomore (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1973), pp. 128–150; Robert C. Tucker, “The Political Theory of Classical Marxism”, in *The Marxian Revolutionary Idea* (New York: Norton, 1970), eh. 3.

Но как быть с последними тенденциями в марксизме? В последнее время среди марксистски ориентированных интеллектуалов имело место возрождение интереса к проблеме государства⁶⁸. Критически реагируя на широко распространившуюся вульгаризацию (представление о том, что государства – не что иное, как орудия, которыми сознательно манипулируют лидеры и группы интересов, представляющие господствующий класс), современные исследователи, такие как Ральф Милибэнд⁶⁹, Никое Пуланцас⁷⁰, Перри Андерсон⁷¹, Геран Терборн⁷² и Клаус Оффе⁷³, поставили вопрос об «относительной автономии государства» от прямого контроля со стороны господствующего класса. Возможность этого была в особенности характерна для капиталистических обществ, но также и абсолютистской фазы европейского феодализма. Вниманию теоретиков было обращено на выявление широких структурных ограничений, которые существующий способ производства налагает на диапазон возможностей для государственных структур и их действий. И, в обновленном виде, была разработана концепция необходимости свободы правителей государства от контроля со стороны конкретных групп и представителей господствующего класса, если правители в состоянии проводить политику, которая служит фундаментальным интересам всего господствующего класса. Эти интересы, конечно, заключались в том, чтобы сохранить классовую структуру и способ производства в целом.

По мере развертывания этой современной дискуссии некоторые ее участники (особенно те, которые более остальных стремились понять, как государства могут действовать вопреки сопротивлению господствующего класса, чтобы сохранить существующий способ производства) были, казалось, на грани признания того, что государства потенциально автономны не только по отношению к господствующим классам, но и ко всем классовым структурам или способам производства⁷⁴. Однако этой возможной линии аргументации по большей части тщательно избегал⁷⁵. Вместо этого некоторые исследователи, такие как Клаус Оффе, просто высказывали гипотезу, что, хотя структуры государства и меры его политики каузально важны сами по себе, объективно они функционируют благодаря встроеным «механизмам отбора» для

⁶⁸ Обзор значительной части этой литературы см. в: David A. Gold, Clarence Y. H. Lo, Erik Olin Wright, “Recent Developments in Marxist Theories of the Capitalist State”, *Monthly Review* 27:5 (October 1975), pp. 29–43, and 27:6 (November 1975), pp. 36–51.

⁶⁹ См. в особенности: Ralph Miliband, *The State in Capitalist Society* (New York: Basic Books, 1969); Miliband, “Poulantzas and the Capitalist State”, *New Left Review* no. 82 (November–December 1973), pp. 83–92.

⁷⁰ См. в особенности: Nicos Poulantzas, *Political Power and Social Classes*, trans. Timothy O’Hagan (London: New Left Books, 1973); Poulantzas, “The Problem of the Capitalist State”, in *Ideology in Social Science*, ed. Robin Blackburn (New York: Vintage Books, 1973), pp. 238–253; Poulantzas, “The Capitalist State: A Reply to Miliband and Laclau”, *New Left Review* no. 95 (January–February 1976), pp. 65–83; Poulantzas, *Classes in Contemporary Capitalism*, trans. David Fernbach (London: New Left Books, 1975); Poulantzas, *The Crisis of the Dictatorships*, trans. David Fernbach (London: New Left Books, 1976).

⁷¹ См.: Perry Anderson, *Lineages of the Absolutist State* (London: New Left Books, 1974); Андерсон П. Родословная абсолютистского государства. Москва: Территория будущего, 2010.

⁷² См.: Goran Therborn, “What Does the Ruling Class Do When It Rules?”, *The Insurgent Sociologist* 6:3 (Spring 1976), pp. 3–16; Therborn, *What Does the Ruling Class Do When it Rules?* (London: New Left Books, 1978); Терборн Г. Что делает правящий класс, когда он правит? Некоторые размышления о различных подходах к изучению власти в обществе // *Логос*. 2008. № 6. С. 73–92.

⁷³ См. в особенности: Claus Offe, “Structural Problems of the Capitalist State”, *German Political Studies* 1 (1974), pp. 31–56; Offe, “The Theory of the Capitalist State and the Problem of Policy Formation”, in *Stress and Contradiction in Modern Capitalism*, eds. Leon N. Lindberg et al. (Lexington, Mass.: Heath, 1975), pp. 125–44; Claus Offe and Volker Ronge, “Theses on the Theory of the State”, *New German Critique* no. 6 (1975), pp. 137–147.

⁷⁴ См. в особенности: Poulantzas, “Problem of Capitalist State”, in *Ideology in Social Science*, ed. Blackburn; Offe and Ronge, “Theses on the Theory of the State”.

⁷⁵ Два теоретика неомарксизма, которые действительно рассматривают государства как потенциально автономные, – это Эллен Кэй Тримбергер (Ellen Kay Trimberger, “State Power and Modes of Production: Implications of the Japanese Transition to Capitalism”, *The Insurgent Sociologist* 7 (Spring 1977), pp. 85–98; Trimberger, *Revolution From Above: Military Bureaucrats and Modernization in Japan, Turkey, Egypt, and Peru* (New Brunswick, N.J.: Transaction books, 1978) и Фред Блок (Fred Block, “The Ruling Class Does Not Rule: Notes on the Marxist Theory of the State”, *Socialist Revolution* no. 33 (May–June 1977), pp. 6–28). Я испытала весьма сильное влияние этих работ, а также личного общения с Тримбергер и Блоком.

сохранения существующего способа производства⁷⁶. Другие, особенно так называемые структурные марксисты, заменили дискредитированный инструментализм господствующего класса тем, что можно назвать редукционизмом классовой борьбы⁷⁷. Согласно этим взглядам, структуры и функции государства не просто контролируются исключительно господствующими классами. Они скорее оформляются в ходе борьбы между господствующим и подчиненным классами – борьбы, которая проходит в объективных границах данной экономики и классовой структуры в целом. И наконец, новейший вклад в эту дискуссию был сделан Гераном Терборном в новой книге, которая посвящена исследованию государственных структур как таковых. В сходном с теоретиками классовой борьбы, но все же несколько отличном от них духе Терборн конструирует и сравнивает типологические модели различных форм и функций государственных организаций и их деятельности в рамках феодального, капиталистического и социалистического способов производства. Он пытается напрямую из тех или иных базисных классовых отношений вывести структуру государства, соответствующую каждому из способов производства. Таким образом, наряду со структурным теоретиком Никосом Пуланцасом Терборн настаивает на том, что «государство не должно рассматриваться ни как особенный институт, ни как средство, но как отношение – как материализованная концентрация классовых отношений в данном обществе»⁷⁸.

Поэтому в современных марксистских дискуссиях о государстве камнем преткновения является проблема автономии государства, так как большинство участников дискуссии склонны рассматривать государство либо в совершенно функционалистской манере, либо в качестве одного из аспектов классовых отношений или борьбы. Несомненно, это попытка установить (или вновь установить, так как это и было классической марксистской позицией), что государства не просто создаются или используются господствующими классами. Тем не менее, для марксистов по-прежнему существенно важны вопросы о том, что представляют собой государства сами по себе, как различаются их структуры, а также как развивается их деятельность по отношению к социально-экономическим структурам. Пока что практически все марксисты продолжают просто исходить из того, что формы и деятельность государства варьируются в зависимости от способов производства и что правители государства не имеют возможности действовать против фундаментальных интересов господствующего класса. Концепции остаются ограничены вопросами о том, *как* государства трансформируются вместе со способами производства и господствующими классами и как функционируют для них. В результате по-прежнему практически никто не ставит под сомнение эту марксистскую версию стародавней тенденции социологии объединять государство и общество.

Однако если мы намереваемся хорошо подготовиться к анализу социальных революций, то эту давнюю социологическую тенденцию необходимо поставить под сомнение. На первый взгляд, перспектива социально-структурного детерминизма (особенно включающая какую-либо разновидность классового анализа) кажется очевидно плодотворным подходом. Это выглядит так потому, что одним из основных компонентов социальных революций действительно является классовая борьба, а результатом – фундаментальные социально-структурные трансформации. Тем не менее исторические реалии социальных революций настоятельно требуют подхода, в большей мере сконцентрированного на государстве. Как будет показано в ключевых главах этой книги, политические кризисы, дающие начало социальным революциям, вообще не были эпифеноменальными отражениями социальной напряженности или классово-

⁷⁶ Offe, “Structural Problems of Capitalist State”.

⁷⁷ «Редукционизм классовой борьбы» кажется мне удачной характеристикой позиции Пуланцаса в работах: “Capitalist State: Reply to Miliband and Laclau”; Crisis of Dictatorships. Эта перспектива также развивается некоторыми американскими структуралистами в: Gosta Esping-An-dersen, Roger Friedland, and Erik Olin Wright, “Modes of Class Struggle and the Capitalist State”, Kapitalistate no. 4–5 (Summer 1976), pp. 186–220.

⁷⁸ Therborn, Ruling Class, p. 34.

вых противоречий. Они скорее были прямым выражением противоречий в государственных структурах старых порядков. Конфликтующие политические группы, фигурировавшие в социально-революционных битвах, были не просто представителями социальных интересов и сил. Они скорее формировали группы интересов в рамках государственных структур и вели борьбу за придание тех или иных форм этим структурам. Авангардные партии, возникавшие на радикальных этапах социальных революций, были единственными строителями централизованных армий и администраций, без которых революционные трансформации не осуществились бы. Более того, социальные революции изменили государственные структуры в той же или даже в большей степени, нежели классовые отношения, социальные ценности и институты. Кроме того, влияние социальных революций на дальнейшее экономическое и социально-политическое развитие преобразованных ими стран обязано не только изменениям в классовых структурах, но и изменениям в структурах и функциях государств, установленных этими революциями. В целом классовые сдвиги и социально-экономические трансформации, свойственные социальным революциям, были тесно связаны с крахом государственных организаций старых порядков и формированием государственных организаций новых порядков.

Социально-революционные трансформации можно понять, только всерьез рассматривая государство в качестве макроструктуры. Правильно понятое, государство более не является всего лишь ареной, на которой происходит социально-экономическая борьба. Напротив, оно представляет собой ряд административных, полицейских и военных организаций, возглавляемых и более или менее координируемых исполнительной властью. Любое государство прежде всего и по сути своей извлекает ресурсы из общества и направляет их на создание и обеспечение организаций управления и принуждения⁷⁹. Конечно, эти базовые государственные организации выстраиваются и должны осуществлять свою деятельность в контексте социально-экономических отношений разделения на классы, а также в контексте национальной и международной экономической динамик. Более того, организации управления и принуждения суть только части политических систем в целом. Эти системы могут содержать институты, представляющие социальные интересы в государственной политике, так же как институты, с помощью которых негосударственные акторы мобилизуются для участия в политике. Тем не менее организации управления и принуждения являются основой государственной власти как таковой.

Там, где они существуют, эти базовые государственные организации в минимальной степени, но обладают потенциальной автономией от прямого контроля со стороны господствующего класса. Степень, в которой они *реально* автономны (и в каком смысле), варьирует от случая к случаю. Стоит подчеркнуть, что реальная степень и последствия автономии государства могут быть проанализированы и объяснены только в категориях, отражающих специфику конкретных типов социально-политических систем и конкретных исторических международных обстоятельств. Вот почему введение к главе 2 включает обсуждение институциональных форм государственной власти в аграрных государствах, таких как дореволюционные Франция, Россия и Китай. Также будут обозначены возможные линии конфликта между землевладельческими господствующими классами и государственными правителями в таких государствах. Сейчас нет необходимости вдаваться в эту дискуссию. Для целей развернутой сейчас аргументации достаточно отметить, что государства потенциально автономны, и выявить, какие особые интересы они *могут* преследовать.

⁷⁹ Мои представления о государстве сформировались под непосредственным влиянием таких классических и современных работ, как: Max Weber, *Economy and Society*, 3 vols., ed. Guenther Roth and Claus Wittich (New York: Bedminster Press, 1968), vol. 2, ch. 9 and vol. 3, chs. 10–13; Otto Hintze, очерки в *Historical Essays*, ed. Felix Gilbert, chs. 4–6, 11; Tilly, ed., *Formation of National States*; Randall Collins, *Conflict Sociology* (New York: Academic Press, 1975), ch. 7; Collins, “A Comparative Approach to Political Sociology”, pp. 42–69 in *State and Society*, eds. Bendix et al.; Franz Schurmann, *The Logic of World Power* (New York: Pantheon Books, 1974). См. также ссылки в сноске 75.

Государственные организации с необходимостью соперничают, до определенной степени, с господствующим классом (классами) в присвоении ресурсов экономики и общества. И цели, на которые эти ресурсы после присвоения направляются, вполне могут отличаться от интересов существующего господствующего класса. Ресурсы могут использоваться для увеличения размеров и автономии самого государства. А это с необходимостью угрожает господствующему классу (если только большее могущество государства не является крайне необходимым и может быть действительно использовано для поддержания интересов господствующего класса). Но использование силы государства для поддержки интересов господствующего класса не неизбежно. Действительно, попытки правителей выполнять только «собственно государственные» функции могут порождать конфликты интересов с господствующим классом. Государство обычно выполняет две основные группы задач: оно поддерживает порядок и конкурирует с другими реальными или потенциальными государствами. Как отмечают марксисты, обычной функцией государств является сохранение существующих экономических и классовых структур, поскольку в нормальных условиях это самый бесппроблемный способ поддержания порядка. Тем не менее государство имеет свои особые интересы, связанные с подчиненными классами. Хотя и государство, и господствующие классы в широком плане разделяют заинтересованность в том, чтобы удерживать подчиненные классы на отведенном им месте в обществе и на работе в существующей экономике, собственные фундаментальные интересы государства в поддержании элементарного порядка и политического мира могут привести его (особенно в периоды кризиса) к уступкам в пользу подчиненных классов. Эти уступки могут быть сделаны за счет интересов господствующего класса, но не вопреки собственным интересам государства по контролю над населением, сбору налогов и рекрутированию на военную службу.

Более того, не нужно забывать, что государства также существуют в определенной геополитической среде, во взаимодействии с другими реальными или потенциальными государствами. Существующие экономика и классовая структура обуславливают и влияют на структуру данного государства и действия его правителей. Таким образом, геополитическая среда также создает задачи и возможности для государств и накладывает ограничения на их способности справляться либо с внешними, либо с внутренними задачами или кризисами. Как однажды написал немецкий историк Отто Хайнц, два явления в первую очередь обуславливают «реальную организацию государства. Это, во-первых, структура социальных классов и, во-вторых, внешний порядок государств – их положение друг относительно друга и их общее положение в мире»⁸⁰. Действительно, включенность государства в международную сеть выступает основой для потенциальной автономии действия по отношению к группам и институтам (и против них) в пределах его юрисдикции, включая даже господствующий класс и существующие производственные отношения. Дело в том, то военное давление извне и внешнеполитические возможности могут подтолкнуть правителей к проведению политики, входящей в столкновение с фундаментальными интересами господствующего класса и даже, в крайних случаях, противоречащей им. Например, правители государства могут предпринять военные авантюры за рубежом, истощающие внутренние экономические ресурсы или же подрывающие, немедленно или в конечном счете, позиции господствующих социально-экономических групп. Или другой пример: правители в ответ на военную конкуренцию с зарубежными странами или угрозы завоевания могут попытаться запустить фундаментальные социально-экономические реформы или изменить курс экономического развития страны за счет государственного вмешательства. Такие программы могут быть успешно реализованы, а могут быть провалены. Но даже если они не доводятся до конца, сама попытка их осуществления может создать дополни-

⁸⁰ Hintze, "Military Organization", in *Historical Essays*, ed. Gilbert, p. 183.

тельное столкновение интересов между государством и существующим господствующим классом.

Перспективу исследования государства, предложенную здесь, можно назвать «организационной» и «реалистической». В противоположность большинству марксистских теорий (особенно современных), эта точка зрения отказывается рассматривать государства как всего лишь аналитические аспекты абстрактно понимаемых способов производства или даже как политические аспекты конкретных классовых отношений и борьбы. Она скорее настаивает на том, что государства представляют собой реальные организации, контролирующие (или пытающиеся контролировать) территории и население. Поэтому исследователь революций должен изучать не только классовые отношения, но и отношения государств друг к другу и отношения государств к господствующим и подчиненным классам. Исследование противоречий Старого порядка и возникновения революционных кризисов в рамках исторических примеров социальных революций, рассмотренных в ключевых главах этой книги, будет сосредоточено прежде всего на отношениях государств с их зарубежными военными соперниками, а также с господствующими классами и существующими социально-экономическими структурами внутри страны. И анализ возникновения и структуры новых порядков будет фокусироваться в первую очередь на отношениях революционных движений, нацеленных на государственное строительство, с международным окружением и с теми подчиненными классами, неизменно включающими крестьянство, которые были ключевыми участниками революционных конфликтов. Государственные организации и старых, и новых порядков займут более центральное и автономное место в этом анализе, чем в прямолинейных марксистских объяснениях.

Тем не менее организационная и реалистическая точка зрения на государство подразумевает не только отличия от марксистских подходов. Она также противостоит тем немарксистским подходам, которые рассматривают *легитимность* политических властей как важное объяснительное понятие. Если государственные организации справляются с любыми задачами, на которые претендуют, легко и эффективно, легитимность (либо в смысле морального одобрения, либо в намного более приземленном, наверное, смысле простого согласия со статус-кво) будет, вероятно, предоставлена государству, его формам и правителям большинством групп общества. В любом случае наиболее важна поддержка или лояльность не народного большинства, а политически могущественных и мобилизованных групп, неизменно включенных в кадровый состав самого режима. Потеря легитимности, особенно среди этих критически важных групп, имеет тенденцию заканчиваться отмиранием там и тогда (по причинам, всегда открытым для исторических и социологических объяснений), где государство постоянно не справляется с существующими задачами или оказывается неспособным справиться с новыми задачами, неожиданно обрушившимися на него в кризисных обстоятельствах. Даже после существенных потерь в легитимности государство может оставаться вполне устойчивым (и, несомненно, неуязвимым для внутренних восстаний на низовой основе), особенно если его организации с функцией принуждения остаются цельными и эффективными⁸¹. Следовательно, структура этих организаций, их место в государственном аппарате в целом, их связи с классовыми силами и политически мобилизованными группами общества – все это важные вопросы для исследователя государств в революционных ситуациях, реальных или потенциальных. Такая аналитическая фокусировка явно представляется более плодотворной, чем фокус преимущественно или исключительно на политической легитимации. Уменьшение легитимности режима в глазах его собственных кадров и иных политически могущественных групп может фигурировать в качестве промежуточной переменной в анализе краха режима. Но его основные причины будут

⁸¹ См.: Katherine Chorley, *Armies and the Art of Revolution* (1943; reprint ed., Boston: Beacon Press, 1973); Russell, *Rebellion, Revolution and Armed Force*.

найлены в структуре и возможностях государственных организаций, поскольку они обусловлены изменениями в экономике и классовой структуре, а также в международном положении.

Одним словом, государство по сути своей является двуликим Янусом, с двойственной укорененностью в социально-экономических структурах, основанных на делении на классы, и в международной системе государств. Если наша цель в том, чтобы понять крах государственных организаций и их строительство в ходе революций, то необходимо рассматривать не только деятельность социальных групп. Необходимо также фокусировать внимание на точках пересечения международных условий и давления внешних сил, с одной стороны, и классовых экономик и политически организованных интересов – с другой. Государственные руководители и их последователи будут маневрировать с целью извлечения ресурсов и построения организаций управления и принуждения именно на этом пересечении. Следовательно, это и есть то самое место, где надо искать политические противоречия, запускающие социальные революции. Здесь также обнаружатся силы, оформляющие отстраиваемые заново в ходе социально-революционных кризисов государственные организации.

В только что законченном разделе этой главы были критически рассмотрены три принципа анализа, которые являются общими для всех существующих теорий революции. Вместо них предложены альтернативные теоретические принципы. На самом деле все общие тенденции, из-за которых существующие теории были подвергнуты критике, тесно связаны между собой. Целенаправленный образ причин социальных революций дополняется внутринациональной перспективой модернизации. К тому же каждый принцип хорошо сочетается с пониманием государства в духе социально-экономического редукционизма. Поэтому неудивительно, что предложенные здесь альтернативные принципы тоже взаимно дополняемы. Мы будем анализировать причины и процессы социальных революций с неволютаристской, структурной перспективы, учитывая международные и всемирно-исторические, а также внутринациональные структуры и процессы. Важным теоретическим дополнением будет перемещение государств (понимаемых как потенциально автономные организации, находящиеся на пересечении классовых структур и международных обстоятельств) в самый центр исследования.

В следующей части рассматривается такой метод анализа, наиболее подходящий для объяснения социальных революций.

Сравнительно-исторический метод

«Социальные революции», определяемые так, как это было сделано в начале этой работы (быстрые, фундаментальные трансформации государственных и классовых структур общества, сопровождающиеся и отчасти осуществляющиеся низовыми восстаниями на классовой основе) являются относительно редкими событиями в мировой истории Нового времени. Более того, каждая такая революция происходила особым образом, в уникальных социально-структурных и международных обстоятельствах. Как в таком случае социолог может надеяться разработать исторически валидные объяснения социальной революции как таковой?

В современных американских общественных науках в целом предпочитают избегать изучения социальных революций, так как исследователи полагают, что действительно научным образом возможно изучать только те феномены, которые представлены достаточно большим количеством примеров. Имеет место сознательная реакция против «естественно-исторического» подхода к революциям, которому отдавало предпочтение предшествующее поколение американских обществоведов. Эти «естественные историки», прежде всего Лайффорд Эдвардс, Крейн Бринтон и Джордж Петти, анализировали небольшое число случаев, пытаясь разрабо-

тать обобщения относительно типического революционного процесса⁸². Презрительно отвергая этот подход как «слишком исторический», следующее поколение исследователей, напротив, стремилось теоретизировать только на относительно большом количестве случаев. Так, во введении к изданной в 1964 г. книге под названием «Внутренняя война» Гарри Экштейн определяет «теоретический объект» как «множество явлений, о котором можно разработать информативные, проверяемые обобщения, охватывающие все явления, причем некоторые применимы только к этим явлениям»⁸³, и заключает, что хотя «утверждение относительно двух или трех случаев, конечно, является обобщением, как оно определяется в словарях, все же обобщение в методологическом смысле должно основываться на большем их числе; оно должно охватывать количество случаев, достаточно большое для того, чтобы можно было использовать определенные строгие процедуры проверки, такие как статистический анализ»⁸⁴. Многие другие современные исследователи революций согласны с Экштейном. Вследствие этого излюбленные стратегии объяснения революций базируются на отнесении их к намного более широким категориям. В их число входят структурно-функциональные категории социальных систем (например, у Челмерса Джонсона) и такие категории, как «политическое насилие» (например, у Теда Гарра) или «коллективное действие» (например, у Чарльза Тилли), которые относятся к аспектам, общим для многих видов политических событий⁸⁵.

Не то чтобы современные исследователи феноменов, относящихся к категории революций, рассматривали свои теории как иррелевантные по отношению к социальным революциям. Они, конечно, полагают, что их общие теории должны «применяться» к случаям революций историками или обществоведами, которые анализируют отдельные их примеры. В известном смысле такие теории, как у Джонсона, Гарра и Тилли, разумеется, применимы к отдельным случаям социальных революций. Можно найти относительную депривацию, множественность суверенитета (многовластие), разбалансировку системы и ценностно-ориентированные идеологические движения в каждой отдельной и во всех социальных революциях вместе взятых. Историки или компаративисты, применяющие метод кейс-стади, могли бы, таким образом, использовать эти идеи по отдельности или все вместе при рассмотрении конкретной революции. Поскольку современные теории в социальных науках оформлены в таких общих концептуальных категориях, в действительности оказывается очень трудно сказать, бывает ли вообще так, что они *неприменимы* в определенном случае. В каком обществе, например, отсутствует широко распространенная относительная депривация того или иного рода? Или как мы должны определить, синхронизирована ли социальная система, когда ее рассматриваем? Ирония заключается в том, что теоретические подходы, стремившиеся избежать ловушек чрезмерного исторического подхода к революциям, заканчивают тем, что дают немногим больше, чем

⁸² Ключевыми работами являются: Lyford P. Edwards, *The Natural History of Revolution* (1927; reprint ed., Chicago: University of Chicago Press, 1970); Эдвардс Л. Естественная история революции // Социологический журнал. 2005. № 1. С. 101–131; Crane Brinton, *The Anatomy of Revolution* (1938; rev. and expanded ed., New York: Vintage Books, 1965); George Sawyer Pettee, *The Process of Revolution* (New York: Harper and Brothers, 1938).

⁸³ Harry Eckstein, ed., *Internal War* (New York: Free Press, 1964).

⁸⁴ *Ibid.*, p. 10.

⁸⁵ Например, определение революционных перемен Челмерса Джонсона, сформулированное в категориях его универсалистской теории социальных систем, применимой ко всем обществам любой эпохи и локализации, охватывает все: от движений ревитализации в племенных обществах и религиозных войн в досовременных аграрных обществах до революций в современных национальных государствах. А Тед Гарр и Чарльз Тилли оба, невзирая на свои резкие разногласия, пытаются разместить революции в рамках более общих теорий «политического насилия» и «коллективного действия» соответственно. Именно потому, что они хотят теоретизировать только о категориях, охватывающих множество событий, чтобы их модели могли быть проверены с помощью количественных методов, Гарр и Тилли определяют революции через те количественные аспекты, которые объединяют их с множеством прочих политических событий (политическое насилие у Гарра и организованное политическое действие и смена членов политической системы, обладающих высшей властью, – у Тилли), оставляя в стороне любое внимание к крупным структурным трансформациям, выступающим отличительной чертой революций, особенно социальных революций как таковых.

указания на различные факторы, которые компаративисты могли бы принять во внимание, не имея никакого обоснования, чтобы предпочесть одни объяснения другим.

Марксистская теория работает с менее общими и более исторически обоснованными категориями, нежели современные социальные теории. К тому же она предлагает более элегантно и полное объяснение социально-революционных трансформаций как таковых (а не, скажем, «политического насилия» в общем). Таким образом, не случайно, что марксизм является той теорией в социальных науках, которую наиболее последовательно и плодотворно историки применяют, чтобы пролить свет на различные отдельные революции⁸⁶. Тем не менее взаимодействие между марксистской теорией и историей пока не полное, потому что исторические кейсы не используются для проверки и модифицирования объяснений, предлагаемых теорией. Исследователи-марксисты посвятили себя выявлению классовых конфликтов и изменений в классовых отношениях, которые действительно происходят во время революций. Но они не разработали способов проверить, действительно ли именно эти факторы отличают революции от других видов трансформаций или успешно завершённые революции от неудавшихся вспышек революции. Возможно, именно потому, что рассматриваемые ими факторы действительно являются важной частью событий, марксисты не смогли заметить критически важный момент: причинно-следственные переменные, описывающие силу и структуру государств Старого порядка, а также отношения между государственными организациями и классовыми структурами могут провести черту между успешными революциями и случаями их провала или отсутствия намного лучше, чем это делают переменные, касающиеся классовых отношений и паттернов экономического развития самих по себе. Аналогично, в своих объяснениях результатов революций марксистски ориентированные ученые подчеркивают изменения в классовых структурах и даже очень долгосрочные экономические процессы. Но они практически полностью игнорируют часто намного более поразительные трансформации в структурах и функциях государственных организаций, таких как армия и администрация, и в отношениях между государством и социальными классами. Это означает, что они снова упускают из виду определение характерных политико-институциональных изменений, которые отличают революции от неревolutionных способов развития стран.

Тот или иной разрыв между теорией и историей, таким образом, есть бич и марксистских исследований, и современных академических социальных теорий революции. Время от времени существование этого разрыва отмечают, в особенности историки. Некоторые из них жалуются на неясность современных теорий революции в социальных науках⁸⁷. Другие отстаивают непригодность марксистских понятий или объяснений для всех случаев, которые они пытались анализировать⁸⁸. К сожалению, разочарованные историки часто приходят к заключению, что их дисциплине вообще следует избегать теорий социальных наук⁸⁹. Вместо этого они отстаивают анализ революций – одной за другой, каждый в своих собственных аналитических категориях или в терминах языка акторов революции того места и времени, когда и где она происходила. На практике ни один из таких релятивистских подходов не является возможным, поскольку историки всегда должны полагаться, по крайней мере неявно, на теоретические идеи и компаративистские точки отсчета⁹⁰. Но разрыв в коммуникации между исто-

⁸⁶ «Буржуазные революции», такие как французская и английская, в рамках марксистской теории интерпретируются как некая целостность. Что касается не-буржуазных революций, в центре внимания находится роль классовых противоречий и конфликтов в качестве причин революций и их процессов, но итоги редко анализировались в марксистских категориях.

⁸⁷ См., напр.: Stone, "Theories of Revolution"; Zagorin, "Theories in Contemporary Historiography".

⁸⁸ См., напр.: Alfred Cobban, *The Social Interpretation of the French Revolution* (Cambridge: Cambridge University Press, 1964); J. H. Nexter, *Reappraisals in History* (New York: Harper & Row, 1963).

⁸⁹ К этому аргументу обычно прибегают историки, такие как Коббан и Хекстер, которые критикуют марксистский категориальный аппарат и соответствующие интерпретации конкретных революций.

⁹⁰ Этот аргумент получил развитие в: E. H. Carr, *What is History?* (New York: Vintage Books, 1961).

риками и регионоведами, с одной стороны, и социальными теоретиками – с другой, всегда существует. В той степени, в какой он существует (а до определенной степени он существует всегда), он только умножает количество якобы общих теорий революции (или о революции), которые реально не проясняют исторически произошедшие революции, и увеличивает количество специальных исследований конкретных кейсов, в которых неосознанно используются более общие принципы анализа и объяснения. Однако, чтобы преодолеть этот разрыв, недостаточно презрительно отзываться о нем с позиции над схваткой. Единственно эффективным противоядием скорее является реальная разработка таких объяснений революций, которые проливают свет на действительно общие паттерны причин и следствий, при этом не игнорируя и не абстрагируясь тотально от тех аспектов, которые специфичны для каждой из революций и ее контекста.

К счастью, существует метод, способный помочь в разработке таких объяснений революций, которые будут одновременно обобщать различные случаи и оставаться исторически чувствительными. Социальные революции как таковые *можно* рассматривать как теоретический объект; требование формулировать объяснительные гипотезы только относительно категорий, представленных в большом количестве примеров, не является неизбежным. Теоретикам нет нужды ограничиваться исключительно применением общих концептов к отдельным случаям. Чтобы делать обобщения относительно социальных революций, чтобы разрабатывать объяснения относительно их причин и результатов, можно применять сравнительно-исторический анализ, единицами для которого станут отобранные интервалы национальных исторических траекторий. «Сравнительно-историческими» обычно довольно свободно называют исследования, в которых сопоставляются две или более исторические траектории национальных государств, комплексов институтов или цивилизаций. В этом очень широком смысле данный термин может обозначать исследования, проводимые в очень разных целях. Некоторые сравнительно-исторические исследования, такие как «Бунташный век, 1830–1930» Чарльза, Луизы и Ричарда Тилли, стремятся продемонстрировать, что некоторая общая социологическая модель применима к различным национальным контекстам⁹¹. Другие исследования, такие как «Государственное строительство и гражданство» Рейнхарда Бендикса и «Родословные абсолютистского государства» Перри Андерсона, используют сравнения преимущественно для того, чтобы выявить контрасты среди наций или цивилизаций, взятых как некое синтетическое целое⁹². Но есть и третья версия сравнительно-исторических исследований (которую я именую методом сравнительно-исторического *анализа*), основной целью которых является разработка, проверка и совершенствование причинно-следственных, объяснительных гипотез относительно событий или структур, являющихся неотъемлемым элементом таких макроединиц, как национальные государства.

Сравнительно-исторический анализ имеет длинную и характерную предысторию в социальных науках. Его логика была ясно изложена Джоном Стюартом Миллем в его «Системе логики»⁹³. Этот метод с огромным успехом применялся такими классиками социально-исторических исследований, как Алексис де Токвиль и Марк Блок⁹⁴. Этот метод продолжают разрабатывать и применять современные исследователи; вероятно, самым известным примером выступает Баррингтон Мур-младший с его «Социальными истоками диктатуры и демокра-

⁹¹ Charles Tilly, Louise Tilly, and Richard Tilly, *The Rebellious Century 1830–1930* (Cambridge: Harvard University Press, 1975).

⁹² Reinhard Bendix, *Nation-Building and Citizenship* (New York: Wiley, 1964). См. ссылку на Андерсона в сноске 71. Хотя теоретический подход Бендикса – веберовский, а Андерсона – марксистский, эти авторы используют схожие типы сравнительного анализа.

⁹³ См. Ernest Nagel, ed., *John Stuart Mill's Philosophy of Scientific Method* (New York: Hafner, 1950), bk. III, J. 8.

⁹⁴ Анализ того, как сравнительный метод использовал Токвиль, см. в: Neil J. Smelser, *Comparative Methods in the Social Sciences* (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1976), ch. 2. О Марке Блоке см.: William H. Sewell, Jr., "Marc Bloch and the Logic of Comparative History", *History and Theory* 6:2 (1967), pp. 208–218.

тии⁹⁵. Сравнительно-исторический анализ особенно актуален для разработки объяснений макроисторических явлений, которые по своей сути таковы, что неизбежно будут представлены лишь небольшим количеством случаев. Этим они отличаются от более многочисленных и операциональных явлений, пригодных для экспериментального изучения, и от других феноменов, представленных достаточно большим числом случаев, необходимым для статистического анализа. Сравнительно-исторический анализ на самом деле выступает методом многомерного анализа, к которому прибегают тогда, когда имеется слишком много переменных, а случаев недостает.

С точки зрения логики, как работает сравнительно-исторический анализ? По сути, мы пытаемся установить обоснованные связи потенциальных причин с явлением, которое стараемся объяснить. Здесь есть два основных пути. Во-первых, можно попытаться установить, что общего между несколькими примерами, в которых проявляется объясняемый феномен и которые также объединены рядом причинно-следственных факторов, хотя эти примеры и различаются в других отношениях, которые могут показаться каузально релевантными. Этот подход представляет собой то, что Милль называл «методом сходства». Во-вторых, можно противопоставить те примеры, где присутствует объясняемый феномен, и его гипотетические причины – иным примерам, в которых и феномен, и причины отсутствуют, но есть сходство с первыми примерами в других отношениях. Эту процедуру Милль называл «методом различия». Сам по себе это более сильный метод, чем отдельно взятый метод сходства для установления каузальных связей (в случае если можно найти подходящие негативные примеры для необходимого противопоставления). Однако на практике часто возможно и, разумеется, желательно объединять эти две компаративистские логики. Это достигается использованием сразу нескольких позитивных примеров наряду с подходящими негативными примерами в качестве контраста.

Именно таким будет подход в этой книге. Франция, Россия и Китай будут служить тремя позитивными примерами успешной социальной революции, и я буду утверждать, что эти случаи демонстрируют сходные причины, несмотря на множество прочих различий. Вдобавок к этому я буду обращаться к негативным примерам для обоснования отдельных частей причинно-следственной аргументации. Делая это, я всегда буду выстраивать противопоставления так, чтобы максимизировать сходство негативного примера (или примеров) с позитивным примером (примерами) в каждом предположительно релевантном отношении, за исключением той причинно-следственной цепочки, которую это противопоставление должно обосновать. Так, например, неудавшаяся русская революция 1905 г. будет сопоставлена с удавшейся революцией 1917 г. для того, чтобы обосновать доводы о критической важности для успеха социальной революции в России военных процессов, которые привели к краху репрессивного потенциала государства. Более того, избранные аспекты английской, японской и германской истории будут использованы в разных местах, чтобы подкрепить аргументы о причинах революционных политических кризисов и крестьянских восстаний во Франции, России и Китае. Такие примеры подходят для противопоставления: эти страны можно сравнивать, так как они прошли через не-социально-революционные кризисы и трансформации в весьма сходных обстоятельствах и на близком историческом интервале с Францией, Россией и Китаем.

На первый взгляд, сравнительно-исторический анализ может показаться не столь уж далеким от подхода «естественной истории» Лайфорда Эдвардса, Крейна Бринтона и Джорджа Петти. Они также проводили глубинный анализ и сравнение узкого ряда исторических примеров. Однако на самом деле сравнительно-исторический и естественно-исторический подходы к исследованию революций отличаются и по цели, и по методу анализа. В то время как

⁹⁵ Современные дискуссии о сравнительном анализе см. в: Smelser, *Comparative Methods in the Social Sciences*; Arend Lijphart, "Comparative Politics and the Comparative Method", *American Political Science Review* 65:3-4 (1971), pp. 682-693; Hopkins and Wallerstein, "Comparative Study of National Societies"; Morris Zelditch, Jr., "Intelligible Comparisons", in *Comparative Methods in Sociology*, ed. Iyan Vallier (Berkeley: University of California Press, 1971), pp. 267-307.

целью сравнительно-исторического исследования является установить причины революций, «естественные историки» стремились описать типический цикл, или последовательность стадий, которые должны быть характерны для революционных процессов. Роберт Парк в своем вступлении к «Естественной истории революций» Лайфорда Эдвардса пишет:

Каждое социальное изменение, которое поддается описанию в концептуальных понятиях, должно иметь... свой характерный цикл. Это одна из предпосылок, на которых основывается это исследование. В плане научного метода это описание цикла представляется первым шагом в анализе социальных изменений где бы то ни было⁹⁶.

Методологически «естественные историки» анализировали революции, пытаясь подвести либо части различных примеров (например, Эдвардс), либо примеры в целом (например, Бринтон) под метафоры, которые, казалось, лучше всего описывают их общие стадии развития и, соответственно, последовательность, якобы «естественную» для революций. К примеру, Бринтон открыто применял метафору болезни, которая также неявно использовалась Эдвардсом:

Мы будем рассматривать революции как некую разновидность лихорадки. В обществе примерно за поколение до вспышки революции, могут быть обнаружены признаки приближающейся пертурбации. Они описываются как *предварительные* симптомы, информирующие очень проницательного диагноста, что болезнь приближается, но еще недостаточно развилась, чтобы быть болезнью. Затем наступает время, когда себя проявляют полноценные симптомы и мы говорим, что революционная лихорадка началась. Она развивается не равномерно, но всплесками и отступлениями в кризис, часто сопровождающийся горячкой, правлением наиболее неистовых революционеров, Царством Террора. После кризиса приходит период выздоровления, обычно отмеченный одним или двумя рецидивами. Наконец лихорадка проходит, и пациент снова приходит в себя, возможно, в некоторых отношениях став сильнее из-за пережитого, приобретя хотя бы на время иммунитет от подобных приступов, но, конечно, не полностью преобразенный.⁹⁷

Разумеется, «естественные историки» также предлагали, по крайней мере неявно, некоторые теоретические гипотезы о причинах революции. Они были преимущественно социально-психологическими, и (что важно для наших целей) мало усилий уделялось сравнению исторических примеров для обоснования этих гипотез. Вместо этого теоретические гипотезы просто применялись к анализу в целом, а исторические материалы использовались в первую очередь для иллюстрации метафорической последовательности стадий. Нельзя сказать, что результаты естественно-исторических исследований не обладают никакой ценностью (действительно, в них много прозрений относительно революционных процессов, они могут и сегодня быть полезным чтением), но они очень отличаются от сравнительно-исторического анализа. Такой анализ применяет сравнения позитивных примеров, а также сравнения позитивных с негативными примерами для выявления и обоснования причин революций, а не их описаний. Более того, сравнительно-исторический анализ ни в какой мере не исходит из того и не пытается доказать, что революционные процессы должны описываться сходным образом в своих конкретных траекториях от случая к случаю. Дело в том, что аналитически сходные группы причин могут действовать в ряде случаев, даже если природа конфликтов и их временная

⁹⁶ Edwards, *Natural History*, p. xviii.

⁹⁷ Brinton, *Anatomy of Revolution*, pp. 16–17.

последовательность различны, и даже если, например, один случай приводит к консервативной реакции, а другой – нет (вообще или к аналогичной). В рамках сравнительно-исторического анализа подобные различия не мешают определить сходные причины разных революций. В то же самое время они представляют различия, которые сами могут быть объяснены путем сравнения позитивных исторических кейсов друг с другом.

Конечно, сравнительная история обладает собственными трудностями и ограничениями, и некоторые особенно значимые из них заслуживают краткого обсуждения. Прежде всего, существуют неизбежные трудности в применении этого метода в соответствии с его логикой. Часто невозможно найти именно те исторические кейсы, которые необходимы для логики определенного сравнения. И даже когда находятся довольно подходящие кейсы, совершенного контроля над всеми потенциально релевантными переменными никогда не добиться. Поэтому приходится делать стратегические предположения о том, каковы, вероятно, реальные причины, – то есть какие из них действительно могут или не могут повлиять на объект исследования. В результате всегда остаются неизученные особенности контекста исторических случаев, которые связаны с детально изучаемыми причинами таким образом, что сравнительно-исторический анализ либо этой связи вообще не выявляет, либо вынужден исходить из ее нерелевантности⁹⁸.

Другая группа проблем обусловлена тем фактом, что сравнительно-исторический анализ с необходимостью исходит из допущения (как любая многомерная логика), что сопоставляемые единицы независимы друг от друга. Но в реальности это допущение редко (если вообще когда-либо) является полностью обоснованным для таких макрофеноменов, как революции. Ибо, как мы уже отмечали, эти феномены возникают в уникальных всемирно-исторических контекстах, которые меняются со временем, и к тому же в рамках международных структур, связывающих одно общество с другим. Для значительной части данного сравнительного исследования можно придерживаться предположения о независимости единиц. Так, например, я намерена рассматривать Францию, Россию и Китай при Старом порядке как в основном сходные и не связанные между собой аграрные государства, с целью выявить причины французской, русской и китайской революций. Но рано или поздно в большинстве макроисследований необходимо будет делать поправку на уникальные воздействия мирового окружения и времени, а также на взаимодействие между единицами. Таким образом, я буду встраивать в мой анализ влияние уникальных всемирно-исторических контекстов на французскую революцию XVIII в. и русскую и китайскую XX в., а также буду учитывать тот факт, что русские революционеры реально оказали влияние на китайскую революцию, распространяя коммунистическую партийную модель и политику через Коминтерн.

И наконец, необходимо подчеркнуть, что сравнительно-исторический анализ не подменяет собой теорию. Действительно, для его применения незаменима помощь теоретических концепций и гипотез. Поскольку сам по себе сравнительный метод не может определить феномен, который должен исследоваться. Он не может отобрать подходящие единицы анализа или определить, какие исторические примеры следует изучать. Он также не способен предоставить причинно-следственных гипотез, которые нужно проверить. Все это должно проистекать из макросоциологического воображения, вооруженного знанием современных теоретических дискуссий и чувствительного к структурам групп исторических примеров.

И все же сравнительно-исторический анализ действительно предоставляет ценный критерий проверки или базис для теоретических спекуляций. Он поощряет детальную разработку имеющихся причинно-следственных аргументов, выдвигаемых гранд-теориями, и, в случае необходимости, объединение разнородных аргументов для того, чтобы остаться верным исход-

⁹⁸ Эта трудность подчеркивается в: Adam Przeworski and Henry Teune, *The Logic of Comparative Social Inquiry* (New York: Wiley, 1970). Пути ее преодоления обсуждаются в: Smelser, *Comparative Methods*, chs. 6–7 *passim*.

ной цели – которой, само собой разумеется, выступает реальное выявление причинно-следственных закономерностей, действующих для множеств исторических случаев. Каким бы ни был источник (или источники) теоретического вдохновения, сравнительная история увенчается успехом, только если убедительно достигнет этой цели. И сравнительно-исторический анализ, когда он *действительно* успешно применяется, служит идеальной стратегией взаимодействия между теорией и историей. Если не применять его механически, то он может способствовать расширению и переформулировке теории, с одной стороны, и появлению новых перспектив видения конкретных исторических случаев – с другой.

Почему Франция, Россия и Китай?

В предыдущих разделах этой главы были обозначены теоретические основы исследования и представлен его метод. И то и другое в принципе применимо к изучению многих возможных примеров социальных революций. Разумеется, в этой книге не проводится глубокий анализ всех имеющихся исторических случаев таких революций. В ней также не анализируется «случайная» выборка из всего множества возможных случаев. На самом деле сравнительно-исторический анализ лучше всего работает тогда, когда применяется к нескольким примерам, обладающим определенными общими основными чертами. Примеры необходимо тщательно подбирать, и критерии для объединения их в одну группу следует заявлять открыто. В следующих главах французская, русская и китайская революции будут рассматриваться вместе, как сходные по существу примеры успешных социально-революционных трансформаций. Здесь, следовательно, надо сказать несколько слов для обоснования такого отбора примеров.

Есть несколько важных практических причин, почему эти, а не другие социальные революции были отобраны для анализа. Во-первых, все они произошли в странах, чьи государственные и классовые структуры не были недавно созданы или трансформированы в своей основе посредством колониального господства. Это соображение устраняет многие сложности, которые пришлось бы систематически рассматривать в ходе любого анализа революций в постколониальных или неоколониальных условиях. Более того, французская, русская и китайская революции все вспыхнули и (после более или менее продолжительной классовой и политической борьбы) завершились консолидацией революционной государственной власти достаточно давно, чтобы можно было исследовать и сравнивать все три *именно* в качестве революционных трансформаций. Иными словами, возможно проследить ход каждой революции от гибели Старого порядка до возникновения иным образом структурированного нового порядка. Для сравнительной истории, без сомнения, справедлива максима Гегеля: «сова Минервы вылетает в полночь».

Однако необходимы более веские основания, чтобы объяснить не только почему Франция, Россия и Китай были выбраны для серьезного изучения, но также и почему все три были сгруппированы вместе как фундаментально *сходные* примеры социальных революций. Поскольку, согласно большинству существующих способов определения и группировки революций для целей сравнительного исследования, Францию, Россию и Китай просто невозможно свести вместе – разумеется, не все они ставятся в один ряд⁹⁹. Франция была примером совер-

⁹⁹ Например, исследователи-марксисты постулируют фундаментальное различие между «буржуазными» революциями – такими как во Франции, – и «социалистическими» (или, по крайней мере, антикапиталистическими) революциями – такими как в России и Китае. В чем-то аналогичным образом немарксистские историки часто проводят резкое различие между антиабсолютистскими, либерально-демократическими революциями, с одной стороны, и коллективистскими, укрепляющими государство революциями – с другой. И наконец, среди специалистов становится широко распространено противопоставлять всем «европейским революциям» (от английской до русской) национально-освободительные революции, которые имели место в различных странах «третьего мира» после Второй мировой войны. Это разграничение используется и Илбаки Хермасси (Elbaki Hermassi, “Toward a Comparative Study of Revolutions”, *Comparative Studies in Society and History* 18:2 (April 1976), pp. 211–235), и Мартином Малией (Martin Malia, “The Escalation of European Revolution: 1640, 1789, 1848, 1917” (Paper presented

шившейся до XX в. европейской революции, обычно рассматриваемой как буржуазно-капиталистическая или либерально-демократическая по своей природе. В зависимости от того или иного понятийного каркаса в России произошла либо антиабсолютистская революция, либо государственно-девелопменталистская, либо пролетарско-коммунистическая революция. Ряд исследователей отнесли бы ее к одной группе с Францией, другие – с Китаем. Но никто не согласился бы, что она входит в одну группу с обоими¹⁰⁰. Дело в том, что Китай не рассматривается как нечто, что можно было бы обоснованно отнести к одному классу с Францией, поскольку французская революция была «буржуазной» или «либеральной», а китайская – очевидно, ни тем, ни другим, или в том, что Китай надо объединять в одну группу с национально-освободительными революциями третьего мира, а не с какими-либо европейскими революциями.

Однако исходной посылкой этой работы является то, что Франция, Россия и Китай продемонстрировали важные схожие черты старых порядков, а также революционных процессов и их результатов – более чем достаточные, чтобы оправдать их совместное рассмотрение в качестве одного образца, требующего последовательного причинно-следственного объяснения. Все три революции произошли в богатых и политически амбициозных аграрных государствах, ни одно из которых никогда не испытывало колониальной зависимости. Эти старые порядки являлись протобюрократическими автократиями, которым внезапно пришлось в военном порядке противостоять экономически более развитым соперникам. Во всех трех революциях опосредованные внешние кризисы совпали с внутренними структурными условиями и тенденциями таким образом, что породили стечение следующих обстоятельств: (1) выход из строя центрального государственного аппарата старых порядков; (2) широкий размах восстаний низших классов, в первую очередь крестьянства; (3) попытки мобилизующих массы политических лидеров консолидировать власть революционного государства. Результатом революции в каждом случае выступало централизованное, бюрократическое и национальное государство с массовым политическим участием и с возросшим великодержавным потенциалом на международной арене. Препятствия к социальному изменению в национальном масштабе, связанные с дореволюционным положением высшего землевладельческого класса, были устранены (или значительно сокращены), а новый потенциал развития был создан благодаря большей централизации государства и массовому политическому участию при новых режимах.

Что бы ни было принято в других понятийных системах, французская и китайская революции (два «полярных» примера в моем трио) были не настолько уж отличны одна от другой и не настолько похожи (соответственно) на ранние европейские либеральные революции и осуществляющие национальное строительство революции третьего мира, как можно было бы подумать, исходя из их различных пространственно-временных и культурных условий. На самом деле французская революция в ключевых моментах поразительно отличалась от английской революции XVII в. и была довольно схожа с китайской и русской революциями. Крестьянские бунты в ходе французской революции играли ключевую роль, к тому же ее политическим результатом было более централизованное и бюрократическое государство, а не либерально-парламентский режим. Что касается китайской революции, то исторически пред-

at the Annual Meeting of the Modern European Section of the American Historical Association, Atlanta, Georgia, December, 1975), pp. 5–9). И Хермасси, и Малия рассматривают китайскую революцию в качестве национально-освободительной («периферийной», или «революции третьего мира»).

¹⁰⁰ Малия в вышеупомянутой работе рассматривает русскую революцию как антиабсолютистскую, наряду со всеми прочими европейскими революциями, включая французскую. Хермасси же рассматривает русскую революцию как прототип «девелопменталистской» революции, противопоставляя ее и «демократическим» революциям, таким как французская, и «периферийным» революциям, таким как китайская. Баррингтон Мур в «Социальных истоках» рассматривает Россию и Китай в качестве примеров крестьянских/коммунистических революций, в противоположность либерально-буржуазной французской революции. Классификация Мура, вероятно, является наиболее типичной, хотя другие ученые обычно используют и другие обозначения.

ставляется удивительно недальновидным относить ее к национально-освободительным революциям XX в. Культурная и политическая история Старого имперского порядка в Китае простиралась на многие века назад. Кроме того, китайская революция как процесс в целом была запущена в 1911 г. восстанием высшего класса против абсолютистского монархического государства, ни чем не отличающегося от восстания аристократии, положившего начало французской революции¹⁰¹. Более того, китайская революция в конце концов породила ориентированный на догоняющее развитие коммунистический режим, который, конечно, в большей (или той же) степени был похож на послереволюционный советский режим, чем на современные некоммунистические режимы третьего мира.

Учитывая тот факт, что схожих черт между этими тремя революциями достаточно для того, чтобы использовать их для проведения сравнительно-исторического исследования, такое исследование обещает быть весьма плодотворным. Можно выявить и объяснить сходные социально-политические характеристики французской, русской и китайской революций в таких отношениях, которые неизбежно будут упущены исследователями, решившими рассматривать их по отдельности. Прежде всего, из сопоставления этих революций можно многое узнать о причинах и результатах участия крестьян в социальных революциях. Также многое можно узнать о процессе краха и восстановления государственных административных и принудительных организаций в ходе перехода от старых порядков к новым. Не случайно, что эти аспекты революций часто либо недооцениваются, либо упускаются во многих других сравнительных исследованиях. Это происходит потому, что большинство альтернативных категориальных схем служат тому, чтобы выявлять вместо этого либо буржуазные/пролетарские классовые конфигурации, либо паттерны легитимной политической власти и идеологического самосознания старых и новых порядков.

Но мы должны не только подчеркивать паттерны, общие для французской, русской и китайской революций. Гибкость и историческая чувствительность сравнительного метода позволит уделить внимание и особым характеристикам каждой из этих трех революций. Нет необходимости отрицать, что французская революция имела буржуазные и либеральные черты, что русская революция оказалась в итоге крайне этатистской или что в китайской революции были элементы национально-освободительной борьбы. Даже если мы в первую очередь ищем и пытаемся объяснить паттерны, общие для Франции, России и Китая, мы можем также обратить внимание на различия, характеризующие пары этих случаев или отдельные случаи. Затем они могут быть объяснены как отчасти вызванные различиями в общих причинно-следственных паттернах, отчасти – контрастами в социальных структурах Франции, России и Китая и отчасти – разницей во всемирно-историческом времени и последовательности этих трех великих революций. В результате именно те отличительные характеристики этих революций и их всемирно-исторические контексты, которые подтолкнули других исследователей к разнесению их в различные категории, будут по-новому освещены и объяснены, так как они изучаются на фоне паттернов, общих для всех трех революций.

¹⁰¹ Часто исследователи исходят из того, что в Китае было две революции, одна в 1911 г. и другая, столкнувшая между собой китайских коммунистов и националистов, в 1930-1940-е гг. Однако я считаю более плодотворным рассматривать китайскую революцию как единый процесс. Он растянулся от падения Старого порядка в 1911 г. (и провала попыток консолидации какого-либо нового режима в этот момент), через возникновение и соперничество за высшую власть двух направленных на государственное строительство движений (националистов и коммунистов), которое завершилось победой последних, частично предопределенной тем, что националисты ни разу не преуспели в объединении Китая под властью одного правительства. Поэтому, если кто-либо из читателей принимает для себя проводимое Самюэлем Хантингтоном различие между «западными» революциями, начинающимися с краха старого порядка, и «восточными», где возникает движение, бросающее вызов слабой власти в стране третьего мира, то я утверждаю, что Китай был на самом деле ближе к «западному» типу. Аналитическое различие Хантингтона полезно, но примеры к нему приведены неверно, к тому же сами обозначения следовало бы изменить!

Заглядывая вперед

Следующие главы представляют собой сравнительно-историческое исследование французской, русской и китайской революций – исследование, задуманное и осуществленное в теоретических рамках, разработанных в этой первой главе. В Части I рассматриваются структурные и исторические условия для возникновения объективных революционных ситуаций во Франции, России и Китае при Старом порядке. Глава 2 фокусирует внимание на политических кризисах абсолютистских государств, и в главе 3 анализируется положение крестьянства. Чтобы усилить обоснование основных линий аргументации, подразделы глав 2 и 3 кратко демонстрируют, что условия, предположительно критически важные для возникновения социально-революционных ситуаций во Франции, России и Китае, отсутствовали или не присутствовали все вместе в соответствующие исторические периоды в Японии, Пруссии/Германии и Англии. Таким образом, логика сравнения в Части I прежде всего подчеркивает отношения, в которых Франция, Россия и Китай были похожи. И осуществлено это подчеркивание путем сопоставления с негативными примерами.

В Части II, с другой стороны, логика сравнения полностью фокусируется на сходстве и различиях между позитивными примерами социальной революции, поскольку в Части II принимается как данность то, что Франция, Россия и Китай оказались в сходных революционных ситуациях, вызванных сходными причинами. Цель заключается в том, чтобы на этом основании объяснить результаты революций. Поэтому эта часть демонстрирует, как конфликты, развернувшиеся в ходе революционных кризисов, вели к социально-революционным результатам, где некоторые паттерны были общими для всех революций и иные отличали одну или две из них. В Части II, главе 4 представлены основные аналитические суждения, которые будут проверены для каждой революции; в главах 5, 6 и 7 рассматриваются конфликты и результаты революций во Франции, России и Китае соответственно.

Часть I

Причины социальных революций во Франции, России и Китае

Глава 2

Государства Старого порядка в состоянии кризиса

Для наступления революции обычно бывает недостаточно, чтобы «низы не хотели», а требуется еще, чтобы «верхи не могли» жить по-старому.

Владимир Ленин

Социальные революции во Франции, России и Китае возникли именно из политических кризисов, центром которых были структуры государств Старого порядка и положение, в котором они находились. События 1787–1789 гг. во Франции, первой половины 1917 г. в России и 1911–1916 гг. в Китае не только подорвали самодержавные монархические режимы, но и дезорганизовали централизованный административный и принудительный контроль над потенциально мятежными низшими классами. Эти революционные кризисы развились тогда, когда государства Старого порядка стали неспособны справляться с вызовами меняющейся международной обстановки. Монархические режимы подверглись новым угрозам или усилившейся конкуренции со стороны экономически более развитых зарубежных держав. К тому же в своих ответах на эти вызовы они были ограничены или сдерживались институционализированными отношениями самодержавных государственных организаций с высшими землевладельческими классами и аграрными экономикомы. Столкнувшись с перекрестным давлением со стороны внутренних классовых структур и затруднительным положением на международной арене, эти самодержавные режимы, их централизованные администрации и армии распались, открывая дорогу социально-революционным трансформациям, инициированным восстаниями на низовой основе.

Чтобы понять природу и причины этих политических кризисов, которые запустили французскую, русскую и китайскую революции, нужно иметь представление о структурах старых порядков и конфликтах, которым они были подвержены во времена, предшествующие вспышкам революций. Можно начать с того факта, что дореволюционные Франция, Россия и Китай были странами, единство которых поддерживалось самодержавными монархиями, сосредоточенными на задачах, не связанных с поддержанием внутреннего порядка и борьбы с внешними врагами. Во всех трех примерах во времена Старого порядка существовали вполне устойчивые *имперские государства* – то есть дифференцированные, координируемые из центра административные и военные иерархии, функционирующие под эгидой абсолютных монархий¹⁰². Эти имперские государства были протобюрократическими: *некоторые* государственные должности, особенно на высших уровнях, были функционально специализированными; *некоторые* государственные служащие или аспекты должностных обязанностей регулировались с помощью точно определенных правил и иерархического руководства; и отделение государственных должностей и обязанностей от частной собственности и частных целей было *частично* инсти-

¹⁰² Используя концепцию «имперского государства» как типа государства, я опираюсь на: Frances V. Moulder, *China and the Modern World Economy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), p. 45. Однако, в отличие от Моулдера, я полагаю, что имперские государства были частично бюрократическими, а не не-бюрократическими.

туционализировано (хотя и различными способами) в рамках каждого режима. Однако ни одно из этих имперских государств не было полностью бюрократическим¹⁰³. Соответственно, ни одно из них не было столь же централизованным и могущественным по отношению к обществу, как современные национальные государства. В частности, стоит подчеркнуть, что имперские государства Франции, России и Китая при Старом порядке не могли непосредственно контролировать, не говоря уже о том, чтобы основательно перестраивать, местные аграрные социально-экономические отношения. Ограниченным скорее было само разнообразие или разброс тех функций, ради выполнения которых протобюрократические государства, так сказать, и создавались: ведение войн за рубежом; надзор над обществом внутри страны для поддержания некоей видимости общего порядка; присвоение социально-экономических ресурсов через рекрутирование на военную службу и налоги на землю, население или торговлю (но не через налоги на что-либо столь трудно измеряемое, как индивидуальный доход).

Имперские государства Франции Бурбонов, России Романовых и Китая при маньчжурах базировались на крупномасштабных, преимущественно аграрных экономиках, в которых земля и (негосударственные) права на продукты сельскохозяйственного производства делились между массой крестьянских семей и высшим классом землевладельцев. В каждом из этих старых порядков важнейшим господствующим (то есть присваивающим прибавочный продукт) классом был в основном высший класс землевладельцев. Это верно даже несмотря на то, что этот класс мог быть тесно связан с богатыми торговцами и регулярно пополняться из их числа. Рыночные отношения были весьма широко развиты во всех трех дореволюционных обществах¹⁰⁴, к тому же существовал городской рабочий класс и классы, контролировавшие торговлю и производство. Тем не менее большая часть торговли была регионального (а не общенационального) масштаба, сельское хозяйство сохраняло большую экономическую значимость, нежели торговля или ремесленное производство, а капиталистические производственные отношения не доминировали ни в сельскохозяйственных, ни в несельскохозяйственных видах деятельности. Торговые и промышленные высшие классы были симбиотически связаны с существующими землевладельческими высшими классами и/или находились в сильной зависимости от имперских государств. Фундаментальная политически значимая напряженность во всех трех старых порядках существовала *не* между торгово-промышленными классами и земельной аристократией. Напротив, она концентрировалась в отношениях производящих классов к господствующим классам и государствам, а также в отношениях господствующих классов землевладельцев к самодержавно-имперским государствам.

Как и во всех аграрных государствах, потенциал для крестьянских (и городских народных) восстаний всегда присутствовал во Франции, России и Китае при Старом порядке. Здесь стоит лишь отметить эту вечную, базовую напряженность в обществе, поскольку она будет рассмотрена детально в главе 3. На данном этапе необходимо сосредоточить внимание на взаимоотношениях между имперскими государствами и высшими классами землевладельцев и на возможных конфликтах, которые эти взаимоотношения могли порождать.

В определенном смысле, разумеется, имперские государства и землевладельческие высшие классы дореволюционных Франции, России и Китая были просто партнерами в контроле над крестьянством и в его эксплуатации. Как бы ни складывалась история (особенно в доабсолютистской Франции), непосредственно перед революциями землевладельческие классы никогда не бросали вызов самому существованию централизованных администраций и армий.

¹⁰³ Критерии бюрократии, используемые здесь, конечно, берут начало в: Max Weber, *Economy and Society*, ed. Guenther Roth and Claus Wittich, 3 vols. (New York: Bedminster Press, 1968), ch. 11, особенно. pp. 956–963.

¹⁰⁴ Дальнейшее рассмотрение и конкретные отсылки (для этого и других вводных утверждений) появятся в анализе каждого кейса ниже. Сравнение городских сетей (отчасти основанных на рыночных системах) в пяти досовременных аграрных государствах, включая Францию, Россию и Китай, представлено в работе: Gilbert Rozman, *Urban Networks in Russia, 1750–1800, and Premodern Periodization* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1976), ch. 5.

Господствующие классы не могли защитить себя от крестьянских восстаний, опираясь исключительно на местную базу; все они оказались зависимыми, пусть и в различной степени, от централизованных монархических государств – в том, что касалось поддержания их классовых позиций и привилегий. Более того, господствующие классы привыкли к возможности частного обогащения через государственную службу. И действительно, подобное косвенное присвоение прибавочного продукта через занятие государственных должностей стало одинаково важным во Франции, России и Китае при Старом порядке.

Но даже если в определенном смысле имперские государства и землевладельческие классы были партнерами по эксплуатации, они также были и конкурентами в контроле над рабочей силой крестьянства и присвоении прибавочного продукта аграрно-торговых экономик. Монархи были заинтересованы во все большем присвоении общественных ресурсов и эффективном их направлении на усиление военной мощи или на организуемое государством и контролируемое из центра экономическое развитие. Поэтому экономические интересы землевладельческих высших классов отчасти являлись препятствием, которое следовало преодолеть, поскольку землевладельческие классы были преимущественно заинтересованы либо в предотвращении роста государственного присвоения, либо в использовании государственных должностей для выкачивания доходов такими путями, которые подкрепляли бы социально-экономический статус-кво внутри страны¹⁰⁵.

Порождали ли такие объективно возможные расхождения интересов монархов и высших классов землевладельцев реальные политические конфликты во Франции, России и Китае при Старом порядке, и то, в каких формах это происходило, зависело от исторических обстоятельств и конкретных институциональных форм каждого самодержавно-имперского государства. Ни одно из этих государств ни в одном из возможных смыслов не было парламентским режимом, который предоставлял бы представителям господствующего класса на повседневной основе определенную роль в осуществлении государственной политики. Но они также не были и полностью бюрократическими государствами. Различными путями члены господствующего класса получали привилегированный доступ к государственным должностям. Сам по себе этот факт был недостаточен для того, чтобы обеспечить *контроль* господствующего класса над деятельностью государства. Но в той мере, в какой члены этого класса обретали

¹⁰⁵ Мое исследование социально-политических структур дореволюционных Франции, России и Китая опирается на марксистский и веберовский подходы, при этом полностью не принимая теоретических наклонностей их обоих. Со стороны марксизма налицо особенно тесное сходство с концепцией абсолютистского государства в раннесовременной Европе, предложенной Перри Андерсоном в работе: Perry Anderson, *Lineages of the Absolutist State* (London: New Left Books, 1974); Андерсон П. Родословная абсолютистского государства. Москва: Территория будущего, 2010. Но с двумя важными отличиями: во-первых, там, где Андерсон проводит четкую границу между европейскими абсолютистскими режимами и неевропейскими аграрными империями, я вижу важные параллели в социально-экономической и политической организации (включая уничтожение политической автономии городов) между поздним имперским Китаем и аграрными абсолютистскими государствами континентальной Европы в начале эпохи модерна (при этом, разумеется, не отрицая, что общие континентальные контексты Европы и Восточной Азии были совершенно различны). Что еще более важно, я не могу согласиться с Андерсоном, что та конкретная форма государственной организации, которая рассматривается здесь – протобюрократическая монархия – фундаментально детерминирована способом производства и формой изъятия прибавочного продукта в обществе. В «феодальной» Европе государственные формы изменялись и варьировали не просто в tandem с присутствием или отсутствием крепостничества или иных форм контроля и эксплуатации крестьян землевладельцами. Очевидно, что мои воззрения на отношения государства и общества многим обязаны Макс Веберу (см. *Economy and Society*, ch. 9-13). Тем не менее, и с этой стороны также имеются некоторые различия. Во-первых, Вебер был склонен теоретизировать об основных формах политических структур в категориях доминирующих видов идей – традиции, харизмы, рационально-легальных норм, – с помощью которых легитимировалась власть правителей или их подчиненных, тогда как здесь в центре внимания прежде всего материально-ресурсная база и организационная форма государственной власти. Во-вторых, в той мере, в какой Вебер был готов теоретизировать о социально-политических структурах общества как целостностях, он обычно использовал категории, относящиеся к политическим формам самим по себе, изолированно от социально-экономических структур. К тому же он анализировал политическую динамику, прежде всего изучая борьбу между правителями и их служителями. Моя концепция структур дореволюционных Франции, России и Китая, напротив, подчеркивает взаимозависимость социально-экономических и политико-военных структур и предполагает, что основные, потенциально приводящие к противоречиям трения в этих обществах были внутренне присущи отношениям производящих классов к господствующим, а также каждого класса к государству.

способность к осознанной коллективной самоорганизации на высших уровнях существующих структур имперского государства, они были в состоянии *препятствовать* тем предприятиям монархов, которые шли вразрез с экономическими интересами господствующего класса. Такая обструкция могла доходить до намеренных вызовов автократической политической власти – и в то же время могла иметь непреднамеренные последствия в виде разрушения административной и военной целостности самой империи.

Конечно, обычно можно было ожидать, что монархи в имперских государствах никогда не попытаются проводить политику, фундаментально расходящуюся с интересами господствующих классов, обладающих такими важными рычагами влияния. Тем не менее факт состоит в том, что в рамках исторических периодов, которые привели к французской, русской и китайской революциям, монархи столкнулись с экстраординарными дилеммами. Как было кратко обозначено в самом начале этой главы, противоречия, приведшие к падению старых порядков, были следствием не только внутренних условий. В предреволюционный период каждый из этих режимов (Франция Бурбонов, Россия Романовых и Китай при маньчжурских правителях) оказался в ситуации усиливающегося военного соперничества с зарубежными национальными государствами, обладавшими в сравнении с ними намного большей и более гибкой властью, основанной на экономических прорывах к капиталистической индустриализации или к капиталистическому сельскому хозяйству и торговле. Успех в рамках этого соперничества с иностранными державами зависел от способности монархии к стремительной мобилизации огромных ресурсов общества и к реформам, требующим структурных трансформаций.

Тот факт, что аграрные государства, исторически вставшие на пути международной экспансии капитализма, *могли* защищать свою самостоятельность и проводить реформы сверху, не был чем-то невероятным. Пруссия и Япония (два примера, которые будут рассмотрены в конце этой главы как контраст Франции, России и Китаю) действительно мобилизовались, чтобы противостоять иностранному соперничеству в XIX в., тем самым избежав социально-революционных трансформаций. В Пруссии и Японии не были заблокированы попытки государственных элит противостоять внешним затруднениям с отсталыми аграрными экономиками или с политически могущественными высшими классами землевладельцев, заинтересованными в обуздании государственных инициатив. Напротив, реформы и меры государственной политики, разработанные для мобилизации и использования возросшего количества ресурсов, удалось реализовать бюрократам, действующим во имя традиционной легитимности.

Но во Франции XVIII в., России начала XX в. и Китае середины XIX – начала XX в. старорежимные монархии оказались равно неспособными осуществить достаточно фундаментальные реформы или содействовать быстрому экономическому развитию для того, чтобы противостоять и выдерживать особую интенсивность военных угроз из-за рубежа, с которыми столкнулся каждый из этих режимов. И революционные политические кризисы возникли именно в силу безуспешности попыток Бурбонов, Романовых и маньчжурских правителей справиться с иностранным давлением. Именно отношения, существовавшие между монархами и их подчиненными, с одной стороны, и аграрными экономиками и высшими землевладельческими классами – с другой, обусловили невозможность империй успешно справиться с соперничеством или вторжениями из-за рубежа. В результате старые режимы либо распались под влиянием поражения в тотальной войне с более развитыми державами (Россия), либо были свергнуты изнутри благодаря реакции политически могущественных землевладельческих высших классов на попытки монархов мобилизовать ресурсы или навязать реформы (Франция и Китай). В любом случае результатом была дезинтеграция централизованной управленческой и военной машин, которые до этого обеспечивали единственный «сплоченный бастион» социального и политического порядка. Более не подкрепленные престижем и силой принуждения самодержавной монархии, существующие классовые отношения стали уязвимы для атак снизу. Социально-революционные политические кризисы возникли тогда, как Ленин однажды удачно

это сформулировал, когда стало «невозможно для господствующих классов сохранить в неизменном виде свое господство». Имел место «кризис политики правящего класса, создающий трещину, в которую прорывается недовольство и возмущение угнетенных классов»¹⁰⁶.

Чтобы лучше обнажить то пересечение сил, которое завершилось социально-революционными политическими кризисами во Франции, России и Китае, необходимо более детально взглянуть на каждый пример и сравнить их между собой. В оставшейся части этой главы я так и поступлю: рассмотрю характеристики государства, экономики и господствующего класса для каждого Старого порядка. Я также намереваюсь исследовать исторически индивидуальные процессы, благодаря которым международная динамика взаимодействовала с социально-политическими структурами Старого порядка, порождая революционные кризисы. Изложенные в конце этой главы аргументы для Франции, России и Китая позднее будут уточнены и обоснованы путем краткого обсуждения различий в причинах и последствиях политических кризисов в Пруссии и Японии – двух других похожих государствах, которые выдержали воздействие более развитых зарубежных стран, избежав социальных революций. Однако в первую очередь мы должны изучить старые режимы, породившие социально-революционные кризисы, начиная с Франции Бурбонов и далее вплоть до последнего случая – имперского маньчжурского Китая (в соответствии с порядком, который и аналитически удобен, и хронологически правилен, учитывая то, что китайский Старый порядок погиб в 1911 г.). После Китая мы перейдем к России при царях из династии Романовых, к ее развитию с середины XIX в. до вспышки важных революционных событий 1917 г.

Франция при Старом порядке: противоречия абсолютизма Бурбонов

Объяснения французской революции долгое время выстраивались вокруг одной из двух базовых идей или их синтеза: роста буржуазии и возникновения у мыслителей эпохи Просвещения критики традиционной, основанной на произволе власти¹⁰⁷. Тем самым революции приписывали причины, имманентные для эволюции французского общества и культуры. Конечно, международным окружением не пренебрегали. К нему часто обращались именно для того, чтобы продемонстрировать, как рост торговли и распространение идеалов Просвещения – феномены европейского и атлантического масштаба – были особенно интенсивными в дореволюционной Франции, особенно по сравнению с другими нелиберальными монархиями тех дней¹⁰⁸.

К чему обращались значительно реже, так это к освещению всеобъемлющего военного соперничества европейских государств и рассмотрению из этой перспективы парадоксального положения Франции при Старом порядке¹⁰⁹. В динамичной международной среде, где все более доминировала коммерциализирующаяся Англия, это была страна, скатившаяся (несмотря на полвека энергичного экономического роста) от почти что господства в Европе до унижительных военных поражений и банкротства монархии. Объяснение того, почему это слу-

¹⁰⁶ Stefan T. Possony, ed., *The Lenin Reader* (Chicago: Henry Regnery, 1966), p. 358; Цит. по: Ленин В. И. Крах II Интернационала // Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 26. Москва: Издательство политической литературы, 1969. С. 218.

¹⁰⁷ Недавние полезные обзоры историографии французской революции можно найти в: Alfred Cobban, *Aspects of the French Revolution* (New York: Norton, 1970); François Furet, “Le Catechisme Revolutionnaire”, *Annales: Economies, Sociétés, Civilisations* 26:2 (March-April 1971), pp. 255–289; Gerald J. Cavanaugh, “The Present State of French Revolutionary Historiography: Alfred Cobban and Beyond”, *French Historical Studies* 7:4 (Fall 1972), pp. 587–606.

¹⁰⁸ См., напр.: Georges Lefebvre, *The French Revolution*, trans. Elifilth Moss Evanson (New York: Columbia University Press, 1962), vol. 1; George Rude, *Revolutionary Europe, 1783–1815* (New York: Harper & Row, 1966).

¹⁰⁹ В этом направлении начало положено С. Б. А. Беренс в: С. В. А. Behrens. *The Ancien Régime* (London: Harcourt, Brace and World, 1967).

чилось, дает возможность понять тот особый политический кризис, который запустил французскую революцию. Более того, причинно-следственные схемы, к которым мы здесь будем обращаться, оказываются вполне сопоставимы с теми, что действовали в начале других великих революций.

Государство

Мы начинаем наше исследование Франции Старого порядка с того, что определим исторический период консолидации единой имперской государственной администрации. Абсолютная монархия, долго находившаяся в процессе становления и как факт, и в воображении королей, стала преобладающей реальностью во Франции только в период правления Людовика XIV (1643–1715 гг.)¹¹⁰. Во время Фронды 1648–1653 гг. группировки земельной аристократии в последний раз подняли оружие против централизующейся монархии. Фронда также явила собой «последнюю перед революцией попытку провозгласить хартию, ограничивающую королевский абсолютизм, и ее провал обеспечил триумф этой доктрины»¹¹¹. Франция с тех пор стала управляться королевской администрацией. Около тридцати назначаемых *интендантов* представляли власть короля в провинциях. Низвергнув некогда всемогущих наследственных губернаторов из числа дворян до маргинальных ролей, эти *интенданты* взяли на себя ответственность за сбор прямых налогов, королевскую юстицию, экономическое регулирование и поддержание внутреннего порядка. Городские дела были отданы под надзор *интендантов*, к тому же за высшие муниципальные должности корона периодически требовала денег¹¹². Высочайшие представители старой знати были введены в орбиту нового версальского двора (служившего финальным символом триумфа абсолютизма), беспрецедентного по роскоши и изобилующего синекурами¹¹³ и интригами.

Абсолютизм восторжествовал при Людовике XIV, тем не менее государственная структура Франции Старого порядка оставалась чрезвычайно сложной и «многослойной». Хотя власть абсолютистской администрации была верховной, ее отличительные структуры (королевские советы и интендантства) в действительности не вытеснили такие децентрализованные средневековые институты, как сеньориальные поместья и суды, городские корпорации и провинциальные штаты (представительные собрания), которые находились в отдаленных провинциях, называвшихся *pays d'états*¹¹⁴. Указанные выше абсолютистские структуры также не полностью заменили более ранние монархические учреждения, такие как *парламенты* (*parlements*) (судебные корпорации, которые будут подробнее описаны ниже), ранее важные должности и институты, и практику (называемую «торговлей должностями») продажи должностей в королевской администрации богатым людям, которые впоследствии ими владели и могли продать или завещать их. Какими бы экстраординарными ни были его достижения, Людовик XIV продолжил стародавнюю французскую традицию установления новых механизмов контроля

¹¹⁰ Общим бэкграундом для этого и следующего параграфа (а также последующих утверждений о французском абсолютизме) служат работы: Pierre Goubert, *Louis XIV and Twenty Million Frenchmen*, trans. Anne Carter (New York: Vintage Books, 1970); Goubert, *L'Ancien Régime 2: Les Pouvoirs* (Paris: Armand Colin, 1973); W. H. Lewis, *The Splendid Century* (New York: Doubleday (Anchor Books), 1957); Menna Prestwich, "The Making of Absolute Monarchy (1559–1683)", in *France: Government and Society*, eds. J. M. Wallace-Hadrill and J. McManners (London: Methuen, 1957), pp. 105–133; G. R. R. Treasure, *Seventeenth Century France* (London: Rivingtons, 1966).

¹¹¹ Leo Gershoy, *The French Revolution and Napoleon* (1933; reprint ed., New York: Appleton-Century-Crofts, 1964), p. 6.

¹¹² Nora Temple, "The Control and Exploitation of French Towns during the Ancien Régime", *History* 51:171 (February 1966), pp. 16–34.

¹¹³ «Синекура» или, исторически, «бенефиций» – доходная должность (букв. – «тепленькое местечко»), получаемая в награду и не требующая исполнения обременительных обязанностей или напряженного труда. – Прим. пер.

¹¹⁴ *Pays d'états* – провинции с сословными собраниями, т. е. обладавшие самоуправлением. Таковые, по словам А. Токвиля, до введения интендантств «составляли V всей территории Франции». – Прим. пер.

«поверх» уже существующих учреждений без их реального упразднения. Поэтому победившее самодержавие было склонно замораживать и даже обеспечивать гарантию тем самым социально-политическим институциональным формам (сеньориальным, корпоративным, провинциальным), чьи изначальные функции она замещала или вытесняла.



Карта 1. Основные административные единицы Франции при Старом порядке, 1789 г. Источник: М. J. Sydenham, *The French Revolution* (New York: Capricorn Books, 1966) P. 40.

Наряду с поддержанием единства и порядка внутри страны, военное величие стало открытой целью абсолютизма Бурбонов. Пережив столетие гражданских войн и отразив атаки империализма Габсбургов, французская монархия была готова к борьбе за верховенство в рамках европейской системы государств¹¹⁵. Для успешного исхода этой борьбы требовалась способность бороться с двумя видами врагов одновременно: другими сухопутными континентальными монархиями и все более процветающими торговыми морскими державами – Нидерландами и Англией. Первоначально перспективы казались достаточно многообещающими. Франция была объединенной, территориально компактной, многонаселенной и потенциально процветающей (как только был восстановлен политический порядок). При маркизе де Лувау во Франции была создана первая круглогодично функционирующая постоянная армия в Европе. А Жан-Батист Кольбер создал военно-морской флот, ввел политику меркантилизма, меры поддержки и стимулирования развития промышленности, торговли и колонизации, а также реформировал королевские финансы, чтобы увеличить доходы, которые можно было пустить на военные цели¹¹⁶.

В период правления Людовика XIV первоначальные военные успехи Франции в Деволюционной войне (1667–1668 гг.) и Голландской войне (1672–1678 гг.) стимулировали формирование альянса держав, обязавшихся остановить ее экспансию. В результате французы потерпели серьезные неудачи в последующих кампаниях: войне Аугсбургской лиги (1688–1697 гг.) и войне за Испанское наследство (1701–1714 гг.). Более того, между 1715 и 1789 гг. Франция оказалась неспособна не только доминировать в Европе, но даже сохранить свои позиции

¹¹⁵ Ludwig Dehio, *The Precarious Balance: Four Centuries of the European Power Struggle*, trans. Charles Fullman (New York: Vintage Books, 1962), ch. 2.

¹¹⁶ Treasure, *Seventeenth Century France*, chs. 19–21.

державы первого ранга. Конечно, коалиции враждебных государств по-прежнему заключали союзы против Франции. Но столь же серьезные трудности возникали ввиду ограничений, наложенных на королевские возможности (но никогда не на амбиции!) недостатками абсолютистской системы, завершившей свое существование при Людовике XIV, а также характером французской экономики и классовой структуры. Здесь особенно уместны сравнения с Англией, поскольку именно Англия в этот период обошла Францию в гонке за европейскую (и, как оказалось, мировую капиталистическую) гегемонию.

Экономика

В XVII столетии и на протяжении всего XVIII в. Франция оставалась преимущественно аграрным обществом, с экономикой, обремененной сложной сетью собственнических интересов, которые препятствовали сколько-нибудь быстрому прорыву к капиталистическому сельскому хозяйству или промышленности. На пороге революции, после 50 лет экономического роста, крестьяне по-прежнему составляли 85 % примерно 26-миллионного населения¹¹⁷; к тому же продукция сельского хозяйства составляла по меньшей мере 60 % валового национального продукта¹¹⁸. Торговля и некоторые еще не механизированные отрасли промышленности, несомненно, развивались во Франции XVIII в. (хотя значительная часть этого роста концентрировалась в районах, прилегающих к атлантическим портам, которым предстояло сильно пострадать во время революции). Тем не менее, как бы ни росла торговля и зарождающаяся промышленность, они оставались симбиотически связанными с социальными и политическими структурами аграрной и имперской Франции и ограничивались ими¹¹⁹.

На этой стадии мировой истории прогресс промышленности с необходимостью опирался в основном на процветание в сельском хозяйстве. Но французское сельское хозяйство, хотя и продвинутое по континентальным стандартам, оставалось «отсталым» по сравнению и с английским сельским хозяйством, и с французской торговлей и промышленностью¹²⁰. Земля, как находящаяся во владении крестьян, так и сдававшаяся в аренду крупными помещиками, делилась на небольшие участки. В значительной степени сельское хозяйство базировалось на системе трехпольной чересполосицы, при которой индивидуальные земельные участки делились на полосы и были разбросаны в разных местах, а треть обрабатываемых земель, так же как и некоторые общинные земли, оставляли под паром каждый год. В силу размеров Франции и недостатка внутренних дешевых средств транспортировки сыпучих грузов, региональная специализация в сельском хозяйстве Франции развивалась медленно. В Англии и Голландии в XVI–XVIII вв. произошла революция в производительности сельского хозяйства, в том числе в выращивании кормовых культур и корнеплодов, наращивании поголовья скота и внесении

¹¹⁷ Behrens, *Ancien Régime*, p. 25. Ее оценка доли крестьянства в населении, вероятно, весьма широка: в эту категорию она включает сельскую бедноту, так же как и всех тех, кто владел землей или брал ее в аренду для работы на ней.

¹¹⁸ Jan Marczewski, "Some Aspects of the Economic Growth of France, 1660–1958", *Economic Development and Cultural Change* 9:3 (1961), p. 379.

¹¹⁹ Общее рассмотрение вопроса, прекрасно учитывающее и динамизм, и пределы экономического роста в этот период, представлено в: Jan De Vries, *The Economy of Europe in an Age of Crisis, 1600–1750* (Cambridge: Cambridge University Press, 1976).

¹²⁰ Этот и следующий параграфы базируются на: Paul Bairoch, "Agriculture and the Industrial Revolution", in *The Industrial Revolution*, ed. Carlo M. Cipolla, *The Fontana Economic History of Europe* (London: Collins/Fontana, 1973), vol. 3, pp. 452–506; Marc Bloch, *French Rural History*, trans. Janet Sondheimer (Berkeley: University of California Press, 1970); Блок М. Характерные черты французской аграрной истории. Москва: Издательство иностранной литературы, 1957; Ralph Davis, *The Rise of the Atlantic Economies* (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1973), chs. 17, 18; F. Crouzet, "England and France in the Eighteenth Century: a Comparative Analysis of Two Economic Growths", in *The Causes of the Industrial Revolution in England*, ed. R. M. Hartwell (London: Methuen, 1967), ch. 7; Behrens, *Ancien Régime*, pp. 25–46; George V. Taylor, "Noncapitalist Wealth and the Origins of the French Revolution", *American Historical Review* 72:2 (January 1967), pp. 472–476.

удобрений на поля, которые теперь не нужно было оставлять под паром. Но сходные трансформации во Франции достигли только ограниченных успехов.

Внедрение новых сельскохозяйственных технологий зависело от ликвидации многих общинных обычаев и сеньориальных прав, что позволило бы консолидировать и объединить управление крупными земельными участками. Но во Франции существовал хрупкий баланс прав между многочисленным малоземельным крестьянством, которое непосредственно владело примерно третью земель, и высшим классом землевладельцев, который также имел значительную долю земель в собственности и сохранял сеньориальные права, которые могли быть использованы для получения коммерческой выгоды. Таким образом, ни одна из этих групп не находилась в таком положении, когда революционные перемены в сельскохозяйственном производстве были бы одновременно и в ее интересах, и в пределах ее возможностей. Инновациям также препятствовало тяжелое бремя королевских налогов, возложенное в основном на крестьянство, а также иррациональные методы их сбора. И наконец, существовала иная, в большей степени наделенная иронией причина того, почему тормозились структурные перемены в сельском хозяйстве. Благодаря более чем 40 годам хорошей погоды, внутреннего порядка и роста населения, валовое сельскохозяйственное производство в середине XVIII в. (1730–1770 гг.) росло огромными темпами даже при сохранении по большей части традиционных структурных ограничений. Этот рост, сопровождавшийся повышением цен и ренты, принес процветание и крупным, и мелким землевладельцам. Тем самым, вероятно, он способствовал тому, что необходимость фундаментальных структурных перемен ощущали лишь немногие правительственные чиновники и прогрессивные землевладельцы, которые наиболее остро осознавали контраст с положением дел в Англии.

Французское сельское хозяйство, в свою очередь, сдерживало развитие французской промышленности. И ее структура, и распределение выгод замедляли появление постоянно растущего массового товарного рынка.

Это было особенно характерно для товаров среднего качества, наиболее подходящих для машинного производства. В конце XVI в. французская промышленность, вероятно, была впереди английской. Но затем, примерно с 1630 по 1730 г., по французскому сельскому хозяйству, торговле и промышленности неоднократно наносили удары войны, эпидемии и голод. Тем временем рост английской экономики был достаточно устойчивым, и первые этапы революции в аграрных производственных отношениях и технологии были завершены. В течение XVIII в. экономический рост, включая внешнеторговую экспансию, и в Англии, и во Франции был быстрым и примерно эквивалентным. Но Англия уже заметно опережала соперника при учете показателей на душу населения еще до начала столетия, к тому же ее аграрная революция углублялась даже по мере роста промышленного производства в течение XVIII в. Так была подготовлена почва для английской промышленной революции, начавшейся после 1760 г. Общее развитие экономики было, несомненно, одним из факторов, лежащим в основе английского прорыва вперед, но французская экономика в XVIII в. демонстрировала сопоставимые темпы роста. Вдобавок к обширной территории и вытекающим из этого трудностям с внутренними перевозками явной отличительной чертой Франции была ее аграрная экономика. Даже процветая, она создавала намного меньший потенциал для массового рынка промышленных товаров, нежели английская, поскольку доля людей со средними доходами была меньше. Подобным же образом традиционная структура аграрного производства не могла поддерживать продолжительный рост. Рост населения, если только он не сдерживался опустошительными войнами, неизбежно следовал за увеличением производительности и вскоре опережал его, вызывая заоблачный рост цен и голод. Именно такой кризис породил рецессию в промышленном производстве после 1770 г. – как раз когда английская промышленность осваивала новые машинные технологии. «Аграрная база французской экономики еще раз продемонстрировала, в 1770–1780-е гг., свою неспособность поддерживать продолжительный рост. В 1600–1630, в 1660–1690 и

в 1730–1770 гг. – раз за разом взрывное экономическое развитие подходило к концу с ослаблением спроса, по мере того как кошельки опустошались из-за все более дорогих продуктов питания»¹²¹.

Господствующий класс

К XVIII в. во Франции сложился особый господствующий класс. Он более не являлся «феодальным» в политическом или юридическом смысле. Но он также не был и «капиталистическим» – ни в смысле «предпринимателей», ни в марксистском смысле класса, который присваивает прибавочный продукт наемного труда и рыночные ренты, а затем реинвестирует их в целях расширения капиталистических производственных отношений и индустриализации. Тем не менее это был единый в своей основе господствующий класс – тот, что прямо или косвенно присваивал прибавочный продукт преимущественно крестьянского сельского хозяйства¹²². Это присвоение прибавочного продукта происходило с помощью смеси рентных платежей и налогов, к уплате которых отчасти принуждали судебные учреждения, где доминировали крупные землевладельцы, а также через перераспределение доходов, собранных под эгидой монархического государства. На самом деле, если термин «феодальный» использовать в одном возможном марксистском смысле, для обозначения классовых отношений присвоения прибавочного продукта (то есть присвоения землевладельческим классом с помощью институциональных средств принуждения)¹²³, то можно сказать, что господствующий класс дореволюционной Франции был в значительной степени феодальным. Но важнее прийти к ясному пониманию того, каковы были (или не были) характеристики и институциональные основы этого господствующего класса.

Разумеется, Франция XVIII в. не была обществом, реально разделенным на сословия (то есть церковь, дворянство, «третье сословие»). Как отмечает Франсуа Фюре, социальные формы и идеалы, стимулируемые одновременным (и симбиотическим) ростом государственной администрации и коммерциализацией, привели к вытеснению позднесредневековой системы социальных слоев:

На самом деле французская монархия на протяжении столетий играла активную роль в разрушении общества сословий, и в XVIII столетии продолжала делать это больше чем когда-либо. Связанное с развитием товарного производства, враждебное к местным властям, сражающееся за национальное единство, государство было (наряду с деньгами, одновременно с деньгами и даже в большей степени, чем деньги) решающим источником социальной мобильности. Государство все больше вмешивалось, подрывало и разрушало вертикальную солидарность сословий, особенно дворянства. Это происходило и в социальном, и в культурном отношении: в социальном, поскольку государство учредило – наиболее заметным образом, в лице своих служащих – иное дворянство, чем дворянство феодальной эпохи. В культурном отношении государство предложило правящим группам королевства, собравшимся впредь под его эгидой, иную систему ценностей,

¹²¹ Davis, *The Rise of the Atlantic Economies*, p. 313. Анализ в этом параграфе в заметной степени опирается на Дэвиса, но также черпает факты из: Crouzet, “England and France”.

¹²² Мои аргументы относительно господствующего класса во Франции XVIII в. по большей части вдохновлены работой: Pierre Goubert, *The Ancien Regime: French Society, 1600–1750*, trans. Steve Cox (New York: Harper & Row, 1974), в особенности главой 6.

¹²³ См., напр., анализ феодализма Перри Андерсона в: Perry Anderson, *Passages From Antiquity to Feudalism and Lineages of the Absolutist State* (London: New Left Books, 1974); Андерсон П. Переходы от античности к феодализму. Москва: Территория будущего, 2007; Андерсон П. Родословная абсолютистского государства. Москва: Территория будущего, 2010.

чем ту, которая основывалась на личной чести: родину и Государство. Одним словом, превратившись в полюс притяжения богатства, поскольку оно распределяло социальное продвижение в чине, монархическое государство, даже консервируя наследие сословного общества, создало параллельную и противоречащую ему социальную структуру: элиту, правящий класс¹²⁴.

Богатство и государственные должности, а не просто членство в сословии, были ключом к успеху во Франции при *ancien régime*¹²⁵¹²⁶. Богатство дворян чрезвычайно разнилось. Более бедные дворяне были исключены из парижского высшего общества и комфортной стильной жизни в провинциальных городах, к тому же у них были огромные трудности с покупкой самых желанных постов в армии или гражданской администрации. С другой стороны, простолюдины, скопившие большое богатство благодаря заморской торговле или королевским финансам, или продвигавшиеся по службе путем покупки все более высоких государственных должностей, могли легко получить доступ и к дворянскому званию и привилегиям, и к высшему обществу. На самом деле многие из наиболее известных и процветающих знатных семейств XVIII в., по всей видимости, получили дворянское звание только три или четыре поколения назад.

Различие между первым (церковным) и вторым (дворянским) сословиями, с одной стороны, и третьим сословием – с другой, к XVIII в. было в большей степени подвижной переходной зоной, чем барьером – по крайней мере, с точки зрения господствующих групп. Сословие действительно было настоящим барьером на средних уровнях социального порядка, базировавшегося в основном на богатстве и занятии должностей. Тем не менее социальная напряженность, порождаемая этим (которая должна была настроить бедных дворян и образованных простолюдинов третьего сословия одновременно и друг против друга, и против богатых и привилегированных) никогда полностью не высвобождалась вплоть до революции. Она не создавала революционного кризиса¹²⁷.

Подобным же образом никакие классовые противоречия (основанные на столкновении несовместимых способов производства, разделяющих господствующие страты) не создавали революционного кризиса. Как продемонстрировало превосходное исследование Джорджа Тейлора¹²⁸, более 80 % частного богатства при Старом порядке была «собственническим» богатством:

В экономике Старого порядка была характерная конфигурация богатства, некапиталистического по своему функционированию, которая может быть названа «собственнической». Она включала инвестиции в землю, городскую собственность, покупаемые должности и ренты. Доходы, которые она приносила, были скромными, от 1 до 5 %, но они были весьма

¹²⁴ Furet, “Le Catechisme Revolutionnaire”, p. 272. Прочитанный абзац переведен с французского мною, с благодарно признаваемой помощью Джерри Кэрабла.

¹²⁵ Старом порядке (фр.). – Прим. пер.

¹²⁶ Этот и следующий абзацы основаны на: J. McManners, “France”, in *The European Nobility in the Eighteenth Century*, ed. Albert Goodwin (New York: Harper & Row, 1967), pp. 22–42; Behrens, *Ancien Regime*, pp. 64–84; Colin Lucas, “Nobles, Bourgeois and the Origins of the French Revolution”, *Past and Present*, no. 60 (August 1973), pp. 84–126; William Doyle, “Was There an Aristocratic Reaction in Pre-Revolutionary France?” *Past and Present*, no. 57 (November 1972), pp. 97–122; D. D. Bien, “La Reaction Aristocratique avant 1789: l’Exemple de l’Armee”, *Annales: Economies, Societes, Civilisations* 29:1 (January-February 1974), pp. 23–48; Jean Egret, “L’Aristocratie Parlementaire Francaise a la Fin de l’Ancien Regime”, *Revue Historique* no. 208 (July-September 1952), pp. 1–14; Robert Forster, *The Nobility of Toulouse in the Eighteenth Century* (Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1960); Robert Forster, “The Noble Wine Producers of the Bordelais in the Eighteenth Century”, *Economic History Review*, 2nd ser. 14:1 (August 1961), pp. 18–33.

¹²⁷ Как это формулирует Дж. В. Тэйлор, «борьба против... аристократии была продуктом финансового и политического кризиса, который не она создала» (“Noncapitalist Wealth”, p. 491).

¹²⁸ George V. Taylor, “Types of Capitalism in Eighteenth-Century France”, *English Historical Review* 79:312 (July 1964), pp. 478–497; Taylor, “Noncapitalist Wealth”. См. также: Guy Chaussinand-Nogaret, “Capital et Structure Sociale sous l’Ancien Régime”, *Annales: Economies, Societes, Civilisations* 25:7 (March-April W0) pp. 463–476.

постоянными и мало менялись из года в год. Эти доходы не требовали предпринимательских усилий... достаточно было просто собственности и времени¹²⁹.

В аграрной экономике собственническое богатство принимало формы и (а) земли, эксплуатируемой косвенно, через рентные платежи, получаемые от арендаторов, которые арендовали или пользовались участками «доменов, ферм, *métairies*¹³⁰, лугов, полей, лесов» и т. д., и (б) «синьории, состоящей из пошлин, монополий и прав, сохраняющихся от [феодалного] владения, слоя собственности, наложенного поверх земельной собственности поместья, наследуемого без ограничений»¹³¹. Владение городскими землями и строениями было еще одним источником ренты. И затем шли продажные должности и *rentes*, чьи характеристики хорошо описаны Тейлором:

В собственнической шкале предпочтений желание обладать собственностью на должность было почти столь же сильным, как и желание обладать земельной собственностью. Покупаемая должность была долгосрочной инвестицией. Обычно она приносила низкие, но стабильные доходы и, пока собственник регулярно платил *droit annuel*¹³²... он мог, с ограничениями, применявшимися к каждой должности, продать ее покупателю, завещать наследнику или даже сдать в аренду кому-либо... В общем, инвестиция в должность была инвестицией в положение. Что делало ее желаемой – так это статус, респектабельность, которые она даровала¹³³.

...Вдобавок к этому, собственническое богатство инвестировалось в *rentes*. В самом широком смысле слова *rente* представляла собой ежегодный доход, получаемый от сдачи чего-либо ценного кому-то другому. *Rente perpetuelle* была рентой неопределенной продолжительности, прекращавшейся, только когда должник решал по своей собственной инициативе вернуть капитал и тем самым освободить себя от выплаты *rente*. Ее сферой было урегулирование финансовых вопросов внутри семей и между ними и инвестиции в аннуитеты, продаваемые городами, провинциальными штатами и королевским казначейством¹³⁴.

Даже самые богатые представители третьего сословия основывали свое благосостояние на сочетании *rentes*, продажных должностей, недвижимости и сеньориальных прав. Тейлор настойчиво утверждает, что «между большей частью дворянства и собственническим сектором среднего класса имела место непрерывность форм инвестиций, которая делала их в экономическом отношении единой группой. В производственных отношениях они играли общую роль»¹³⁵ Только те (в основном незнатные), кто был занят заморской торговлей, и те (в основном знатные), кто был занят в высших королевских финансовых учреждениях, обладали более подвижными и рискованными формами находящегося в обращении богатства. Но и для этих групп собственническое богатство было, в конечном счете, более привлекательным. Большинство успешных торговцев или финансистов переводили свои состояния в собственнические активы. Подобным же образом они обычно трансформировали свои усилия (или усилия своего потомства) в социально более «подобающие» профессии.

¹²⁹ Taylor, "Noncapitalist Wealth", p. 471.

¹³⁰ Хуторов (фр.). – Прим. пер.

¹³¹ Taylor, "Noncapitalist Wealth", p. 471.

¹³² Годовую пошлину (фр.) – Прим. пер.

¹³³ Taylor, "Noncapitalist Wealth", pp. 477, 478–479.

¹³⁴ Ibid., pp. 479, 481.

¹³⁵ Ibid., pp. 487–488.

«Собственническое богатство», таким образом, становилось имущественным базисом господствующего класса. Однако важно отметить, насколько зависимо было собственническое богатство в своих различных формах от особенностей государственной структуры Франции Старого порядка. И абсолютистские, и архаические аспекты «многослойной» государственной структуры обеспечивали важнейшие опоры для социально-экономического положения господствующего класса. Французские крестьяне по-прежнему в основном придерживались дорыночных представлений о социальном и экономическом порядке и поднимали бунты и восстания, когда их общинные идеалы справедливости грубо нарушались¹³⁶. Таким образом, поскольку землевладельцы больше не контролировали значительные средства принуждения на местном уровне, то они зависели от абсолютистской администрации как защитника в последней инстанции. В то же время различные сеньориальные, корпоративные и провинциальные институты, сохранившиеся под покровом абсолютизма, также обладали важным социально-экономическим значением для господствующего класса. В общем и целом они не настраивали буржуазию (или верхушку третьего сословия) против дворянства, поскольку богатые из всех сословий обладали сеньориальными правами, занимали продажные должности и принадлежали к привилегированным корпорациям того или иного рода¹³⁷. В дореволюционной Франции эти институты скорее выражали и укрепляли преимущества богатых собственников перед бедными. Поскольку вне зависимости от того, насколько различались их социальные или политические цели, общим для всех этих прав и учреждений было то, что они предусматривали устанавливаемые государством налоговые преимущества и возможности получения доходов. Вместе с правами собственности на землю подобные льготы и возможности были важнейшим базисом богачей из господствующего класса в целом.

Ситуация зависимости от государства, естественно, делала господствующий класс заинтересованным в старых институциональных формах, таких как сеньориальные права и собственнические государственные должности, а также в новых абсолютистских функциях, особенно связанных со способностью государства обеспечивать военные успехи и облагать налогами экономическое развитие страны (до тех пор пока налоговые поступления приходили от непривилегированных налогоплательщиков). Такой господствующий класс испытывал подъемы и падения вместе с Францией как торговой, но некапиталистической, аграрно-имперской державой. Революционный кризис возник только тогда, когда эта французская державность оказалась нежизнеспособной в связи с изменениями в международном положении и конфликтами интересов между монархией и господствующим классом, имевшим множество плацдармов в структуре государства.

Войны и фискальная дилемма

По мере развития событий в XVIII в. становилось все более очевидным, что французская монархия не может исполнить свой *raison d'être*¹³⁸. Военные победы, необходимые для защиты чести Франции на мировой арене, не говоря уже о защите морской торговли, оказались для нее недостижимы. Франция воевала на море и на суше в двух общеевропейских войнах XVIII в. – войне за Австрийское наследство (1740–1748 гг.) и Семилетней войне (1756–

¹³⁶ Louise Tilly, “The Food Riot as a Form of Political Conflict in France”, *Journal of Interdisciplinary History* 2:1 (Summer, 1971), pp. 23–57.

¹³⁷ «Привилегии» в смысле отличий или юридических льгот, которыми одни индивиды и группы обладали, а другие – нет, ни в коей мере не ограничивались сословиями дворянства и духовенства. В своей работе «Ancien Régime» С. Б. А. Беренс дает отличный анализ этого вопроса (pp. 46 ff). Она отмечает, что «дворянство составляло только одну из многих привилегированных групп и обладало [материально] полезными привилегиями, которые были менее обширными, чем у многих буржуа» (p. 59).

¹³⁸ Смысл существования (фр.) – Прим. пер.

1763 гг.). В каждом из этих конфликтов ресурсы страны были напряжены до предела и жизненно важная для нее колониальная торговля была подорвана британским военным флотом. Взамен этого не было сделано никаких приобретений; напротив, Франция потеряла большие куски своей империи в Северной Америке и Индии, которые перешли к Британии¹³⁹.

Основное затруднение Франции было стратегическое. Будучи торговой державой, расположенной на острове, Англия могла концентрировать почти все свои ресурсы на военно-морских силах, пригодных, в свою очередь, для защиты и расширения колониальной торговли, дававшей налоговые поступления для военных предприятий. Не было необходимости иметь в самой стране большую постоянную армию, к тому же можно было использовать ограниченные финансовые субсидии для помощи союзникам на континенте или их подстрекательства против Франции. Франция, однако, страдала от невзгод «земноводной географии». Она была или стремилась стать «одновременно и величайшей континентальной державой, и великой морской державой... Отчасти континентальная, отчасти приморская, она не могла, подобно Великобритании [или Пруссии с Австрией] устремить всю энергию в одном направлении; волею неволей она должна была пытаться делать и то, и другое»¹⁴⁰. Франция могла надеяться победить Британию, которая становилась ее основным соперником, только оставаясь в стороне от любой одновременной общеевропейской войны на континенте и концентрируя свои ресурсы на ведении боевых действий на море. «Однако это была цель, которую Франция могла преследовать, только оставив свои притязания если не на господство, то, по крайней мере, на обладание решающим голосом в Европе. [Но] великие дела Людовика XIV в ранние годы его правления задали планку для будущих поколений»¹⁴¹.

Еще более фундаментальной проблемой для Франции была недостаточность финансовых ресурсов государства. Отчасти из-за более низкого уровня национального богатства на душу населения во Франции по сравнению с Англией, а отчасти из-за того, что система налогообложения изобиловала освобождениями от налогов или налоговыми льготами для бесчисленных элит, включая должностных лиц, откупщиков, торговые и промышленные группы, а также духовенство и дворянство¹⁴² французской короне было трудно собирать достаточно средств для поддержания длительных и возобновляющихся военных действий, особенно против враждебных коалиций, включающих Англию. Вместо того, чтобы поступиться своими военными амбициями, монархия Бурбонов просто занимала под высокие проценты у частных финансистов – и даже с большей регулярностью у собственных чиновников, состоящих на службе монархии. Подобно *rentes perpétuelles*¹⁴³, которые государство продавало частным покупателям, торговля должностями была формой долгосрочного финансирования, в которой капитал «никогда» не нужно было возвращать¹⁴⁴. Вдобавок к этому, корона постоянно брала краткосрочные процентные займы у бесчисленных финансовых агентов (так как не было единого казначейства), просто приказывая им платить вперед или в большем количестве, чем налоговые поступления, получаемые ими на купленных должностях¹⁴⁵.

¹³⁹ Walter L. Dorn, *Competition for Empire, 1740–1763* (New York: Harper & Row, 1963), особенно chs. 6–8.

¹⁴⁰ Walter L. Dorn, *Competition for Empire, 1740–1763*, p. 114.

¹⁴¹ Behrens, *Ancien Regime*, p. 153.

¹⁴² Betty Behrens, “Nobles, Privileges and Taxes in France at the End of the Ancien Régime”, *Economic History Review*, 2nd ser. 15:3 (April 1963), pp. 451–475.

¹⁴³ Пожизненная, вечная рента, аннуитет (фр.). – Прим. пер.

¹⁴⁴ «Кроме всего прочего, она (*renteperpétuelle*) порождала ту характерную беспечность в отношении долга, которой был знаменит Старый порядок... Только когда обслуживание долгосрочного долга было столь велико, что делало дефициты неизбежными, генеральный контролер должен был прежде обсудить рефинансирование, но затем, конечно, он находил невозможным платить. Именно таковым было затруднительное положение после Американской войны» (Taylor, “Noncapitalist Wealth”, pp. 481–482).

¹⁴⁵ J. F. Boshier, *French Finances, 1770–1795: From Business to Bureaucracy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1970); George T. Matthews, *The Royal General Farms in Eighteenth Century France* (New York: Columbia University Press, 1958).

В противоположность французской монархии, английское правительство могло в чрезвычайных ситуациях получать займы быстро и под низкие проценты. Дело в том, что английские власти могли действовать через Банк Англии – публичный институт, чье существование и действия зависели исключительно от степени торгового процветания Англии и уверенности в умах высшего класса, создаваемой под тщательным контролем парламента над государственным долгом и гарантиями его выплаты. Вследствие этого, как говорит нам С. Б. А. Беренс, «хотя может показаться, что налоговые доходы британского правительства в мирное время, даже к концу XVIII в., не могли составлять больше половины французских, британские расходы на последних стадиях двух величайших войн столетия, по-видимому, превосходили расходы французов»¹⁴⁶.

По мере того как все новые и новые войны и военные поражения ухудшали финансовое положение французской монархии, сменявшие друг друга на этом посту министры финансов пытались реформировать налоговую систему, отменив большую часть освобождений от налогов для привилегированных групп и уравнивая налоговое бремя для провинций и областей. Поскольку взимание прямых подоходных налогов было за пределами административных возможностей всех правительств XVIII в., существовавшие прямые налоги на сельское хозяйство и косвенные налоги на предметы потребления с необходимостью оставались в силе, вероятно, с большими ставками для всех, поскольку корона нуждалась, в конечном счете, в больших денежных поступлениях¹⁴⁷. Естественно, все социальные группы сопротивлялись таким реформам. Но наибольшее значение имело сопротивление со стороны тех богатых, привилегированных групп, которые одновременно и занимали высокое место в обществе, и стратегически укрепили свои позиции в государственном механизме.

Самое яростное сопротивление попыткам короны выжать побольше налогов, бесспорно, оказывали *parlements*. Номинально выступая просто частью королевской администрации, эти судебные корпорации, находившиеся в Париже и ведущих провинциальных городах, были в первую очередь апелляционными судами по всем гражданским и уголовным делам. Однако вдобавок они обладали еще несколькими характеристиками, которые, вместе взятые, делали их ключевыми центрами воздействия высшего класса на королевскую власть. Во-первых, магистраты занимали свои должности на правах собственности и, соответственно, не могли быть с легкостью смещены. Более того, в качестве корпораций *parlements* контролировали доступ в свои ряды. Во-вторых, магистраты неизменно были богаты, в основном в формах, связанных с налоговыми освобождениями. Согласно Франклину Форду, «их состояние включало не только должности, сами по себе представляющие крупные инвестиции, но также и внушительные накопления в ценных бумагах, недвижимости в городах и сельских сеньориях»¹⁴⁸. Кроме того, магистраты играли решающую роль в защите прежде всего сеньориальной собственности. Дело в том, что в качестве апелляционных судов, разбирающих споры о сеньориальных правах, *parlements* защищали эту «причудливую форму собственности», которой владели и дворяне, и буржуазия. «Действительно, – пишет Альфред Коббен, – без юридической поддержки со стороны парламентов вся система сеньориальных прав могла рухнуть, поскольку королевские чиновники были не заинтересованы в поддержании системы, которая перемещала доходы от подлежащих налогообложению [то есть крестьян] в руки тех, кого обложить налогом было нельзя»¹⁴⁹.

В-третьих, благодаря своим различным по размеру состояниям, стилям жизни и проживанию в основных городских центрах (включая важные региональные центры), магистраты

¹⁴⁶ Behrens, *Ancien Régime*, p. 149.

¹⁴⁷ Behrens, “Nobles, Privileges, and Taxes”.

¹⁴⁸ Franklin L. Ford, *Robe and Sword* (New York: Harper & Row, 1965), p. 248.

¹⁴⁹ Alfred Cobban, *A History of Modern France* (Baltimore: Penguin Books, 1957), vol. 1, *Old Regime and Revolution, 1715–1799*, p. 155.

обладали «прекрасными связями». Они вступали в браки и взаимодействовали со старым дворянством («дворянством шпаги») и с теми, кто жил с доходов от сеньориальной собственности, так же как и с семьями, недавно разбогатевшими (и недавно получившими дворянское звание) благодаря коммерции и деятельности в сфере финансов¹⁵⁰. Равным образом они «сохраняли контакты с другими государственными служащими, которые не вступили в ряды дворянства [и] поддерживали связи с социально менее престижной группой, а именно – юристами»¹⁵¹.

И наконец, *parlements* традиционно обладали правом «опротестовывать» королевские эдикты, которые считали нарушающими обычные практики королевства. На практике это означало, что они могли затягивать реализацию мер королевской политики, которые им не нравились, путем процесса публичного обсуждения этих мер (в основном в среде высшего класса). В результате король часто терял доверие к министрам, ответственным за попытки реализации вызывающей возражения политики¹⁵².

На протяжении XVIII в. *parlements* неоднократно препятствовали попыткам министров провести налоговую реформу. Сопrotивление было вообще популярным делом, кроме того, предлагавшиеся реформы положили бы конец привилегиям богатых собственнических групп, таких как они сами, а также сеньоры, рантье и иные обладатели должностей, с которыми они были связаны. Примерно в середине века *parlements* даже начали утверждать право давать квазизаконодательное одобрение мерам королевской политики в качестве представителей французского народа против короны. Наконец, в 1787–1788 гг. *parlements* «открыли путь революции», вновь мобилизовав поддержку высшего класса и народа против министерских предложений реформ и высказав требование созыва Генеральных штатов¹⁵³.

По иронии истории, начало революционного политического кризиса пришло вслед за одной войной XVIII в., из которой Франция бесспорно вышла победителем. Избежав препятствий на континенте, Франция загнала в угол британский военный флот в войне за независимость Америки. Однако «ценой американской независимости оказалась французская революция»¹⁵⁴. Поскольку из-за финансирования войны за лишение Англии ее американских колоний у королевских казначеев (примерно между 1774 и 1788 гг.) окончательно истощились возможности делать новые займы, как раз тогда, когда они резко увеличили расходы королевства и его задолженность до астрономических размеров. Расходы подскочили более чем в 2,5 раза между 1770 и 1788 гг.¹⁵⁵, тогда как к последнему году одно обслуживание долга составляло более 50 % ежегодных расходов¹⁵⁶. Бремя финансирования Американской войны возникло тогда, когда казначейство еще не справилось с задолженностью со времен предыдущей (Семилетней) общеевропейской войны. Налоги «были дополнительно собраны в последний раз в 1780 и 1781 гг.; в рамках существующей системы разрушаемого привилегиями налогообложения экономика не могла вынести большего»¹⁵⁷. И тогда, как мы уже отмечали, Франция скатилась в циклическую рецессию экономики – что сократило налоговые поступления и источники инвестиций и подстегнуло банкротства среди финансовых агентов государства¹⁵⁸.

¹⁵⁰ Ford, Robe and Sword; Forster, Nobility of Toulouse; J. H. Shennan, The Parlement of Paris (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1968); Egret, "L'Aristocratie Parlementaire".

¹⁵¹ Georges Lefebvre, "The French Revolution in the Context of World History", in *Revolutions: A Comparative Study*, ed. Lawrence Kaplan (New York: Vintage Books, 1973), p. 164.

¹⁵² William Doyle, "The Parlements of France and the Breakdown of the Old Regime, 1771–1788", *French Historical Studies* 6:4 (Fall 1970), pp. 415–458.

¹⁵³ Shennan, *Parlement of Paris*; Ford, *Robe and Sword*; Cobban, *History of Modern France*, vol. 1.

¹⁵⁴ Cobban, *History of Modern France*, vol. 1, p. 122.

¹⁵⁵ Pierre Goubert, *L'Ancien Régime, 2: Les Pouvoirs* (Paris: Armand Colin, 1973), pp. 136–137.

¹⁵⁶ Matthews, *The Royal General Farms*, p. 258.

¹⁵⁷ *Ibid.*, p. 257.

¹⁵⁸ Boshier, *French Finances*, pp. 183–196, 308.

И все-таки, как мудро напоминает нам Дж. Ф. Бошер: «большинство королей из династии Бурбонов переживали долги и банкротство; финансовые тяготы в поздние годы правления Людовика XIII, Людовика XIV и Людовика XV были, вероятно, столь же обременительны, как и на заре французской революции»¹⁵⁹. «Почему, – спрашивает он, – финансовые бедствия Людовика XVI переросли в крупномасштабный кризис?» Почему они дали начало революции? Бошер дает ответ, что некоторые процессы во Франции XVIII в. отключили старый спасительный механизм:

Любой другой финансовый кризис в монархии Бурбонов завершался Палатой правосудия [экстраординарным судопроизводством], привлекающей внимание общественности к счетоводам, откупщикам и другим финансистам [все они занимали купленные у монархии должности, которая обычно занимала у них в ожидании налоговых поступлений]... как к спекулянтам, ответственным за бедствие. Палаты правосудия обеспечивали удобный легальный инструмент для списания долгов перед финансистами и принудительного изъятия у них больших сумм. В связи с созывом этих палат корона пользовалась моментом слабости финансистов для осуществления реформ финансовых институтов.

Но в течение XVIII в. генеральные откупщики, главные сборщики налогов, главные казначеи, плательщики рент и иные высокопоставленные финансисты в большом числе стали дворянами и слились с правящими классами до такой степени, что корона не смогла учредить Палату правосудия против них. Долгая серия Палат правосудия подошла к концу в 1717 г. Те министры финансов, которые пытались предпринять что-нибудь, по своей природе представляющее атаку на финансистов, особенно Терре, Тюрго и Неккер, потерпели политическое поражение и были вынуждены уйти в отставку. Именно в этих обстоятельствах финансовые бедствия переросли в крупномасштабный кризис¹⁶⁰.

Одним словом, когда неутолимая склонность к войне в XVIII в. довела монархию Бурбонов до острого финансового кризиса, она столкнулась с социально сплоченным господствующим классом. Этот класс зависел от абсолютистского государства и был вовлечен в его международные миссии. Тем не менее он также был экономически заинтересован в минимизации королевского налогообложения своих богатств и способен оказывать политическое давление на абсолютистских монархов через свои институциональные плацдармы в государственном аппарате.

Революционный политический кризис

В 1787 г. новости об угрожающем финансовом состоянии монархии спровоцировали общий кризис доверия среди господствующего класса¹⁶¹. В попытке упредить *parlements* министр финансов Шарль-Александр де Калонн созвал Ассамблею нотаблей (представителей господствующего класса из всех трех сословий) и представил им анализ финансовых затруднений и радикальные предложения правовых и налоговых реформ. Ключевые предложения заключались в том, чтобы ввести новый налог на все земли независимо от того, находились

¹⁵⁹ Ibid., P. 304.

¹⁶⁰ Boshier, French Finances, pp. 304–305.

¹⁶¹ Этот параграф основывается на: Norman Hampson, A Social History of the French Revolution (Toronto: University of Toronto Press, 1963), ch. 2; A. Goodwin, "Calonne, the Assembly of French Notables of 1787 and the Origins of the Revolte Nobiliare", English Historical Review 61:240 (May 1946), pp. 202–234 and 61:241 (September 1946), pp. 329–377.

ли они в собственности знатных или незнатных, а также к установлению окружных собраний, представляющих всех землевладельцев независимо от статуса. Неудивительно, что нотабли отвергли эти идеи. Калонн был смещен и заменен на Ломеньи де Бриенна, который направил в *parlements* эдикты, содержащие модифицированную версию тех же самых идей. *Parlement* Парижа отказался зарегистрировать декреты де Бриенна и выдвинул получившее широкую поддержку требование созвать давно не собиравшиеся Генеральные штаты. Уже не будучи уверенным, что абсолютизм может решить проблемы государства, и боясь за свои привилегии, господствующий класс хотел иметь представительный орган, который бы давал рекомендации королю и свое согласие на любые новые налоги.

Сначала король ответил отказом и принял курс на то, чтобы взять верх над парламентами. Но сопротивление распространялось, особенно в провинциях. Провинциальные парламенты, провинциальные сословия в отдаленных *pays d'état* и чрезвычайные органы, созданные дворянами и/или верхушкой третьего сословия, подняли бурю протестов против «деспотизма» и в пользу созыва Генеральных штатов. Народные демонстрации, особенно из числа служителей парламентов, защищали *privilègiés* от короны. Кроме того, не на всех интендантов, военных губернаторов и армейских офицеров можно было рассчитывать для подавления сопротивления¹⁶².

Нежелание многих армейских офицеров сколько-нибудь энергично подавлять сопротивление, наряду с продолжающимся финансовым кризисом, в итоге подтолкнуло короля к капитуляции, вылившейся в созыв Генеральных штатов. Это же офицерское нежелание способствовало распространению административного хаоса и развала армии. У офицерства, рекрутируемого из различных привилегированных социальных слоев (богатого дворянства, состоятельных людей незнатного происхождения, бедного сельского дворянства) были давние и разнообразные основания для недовольства. Отчасти это недовольство было направлено на других офицеров, но в значительной степени – против короны, которая никогда не могла удовлетворить все группы¹⁶³. Но вероятно, решающее объяснение поведения офицеров кроется в том, что почти все они были привилегированными, социально и/или экономически. Поэтому в 1787–1788 гг. многие из них отождествляли себя с *parlements*. В своей классической работе «Армии и искусство революции» Кэтрин Чорлей на основании сравнительно-исторических исследований приходит к выводу о том, что в доиндустриальных обществах армейские офицеры обычно отождествляют себя с привилегированными слоями, откуда рекрутируются и в защиту интересов которых действуют¹⁶⁴. На своих начальных стадиях и даже после, когда король сдался и согласился созвать Генеральные штаты, французская революция объединила все слои, ведомые богатыми и привилегированными, против короны. Вполне предсказуемое нежелание армейских офицеров подавлять сопротивление в этот период усугубило кризис государственной власти. Он в свою очередь высвободил политические и социальные разногласия, которые в конечном итоге сделали невозможным просто прибегнуть к репрессиям, как для короля, так и для последующих консервативных фракций господствующего класса.

¹⁶² Hampson, *Social History*, ch. 2; Jean Egret, “The Origins of the Revolution in Brittany (1788–1789)”; Hampson, “The Pre-Revolution in Provence (1787–1789)”, in *New Perspectives on the French Revolution*, ed. Jeffrey Kaplow (New York: Wiley, 1965), pp. 136–170; Jean Egret, *La Pre-Revolution Française* (Paris: Presses Universitaires de France, 1962).

¹⁶³ О французской армии в конце Старого порядка см.: Bien, “Reaction Aristocratique: l'Exemple de l'Armée”; Emile G. Leonard, “La Question Sociale dans l'Armée Française au XVIIIe Siècle”, *Annales: Economies, Sociétés, Civilisations* 3:2 (April-June 1948), pp. 135–149; Louis Hartmann, “Les Officiers de l'Armée Royale à la Veille de la Révolution”, *Revue Historique* 100 (January-April 1909), pp. 241–268, and 101 (May-August 1909), pp. 38–79; P. Chalmin, “La Désintégration de l'Armée Royale en France à la Fin du XVIIIe Siècle”, *Revue Historique de l'Armée* 20:1 (1964), pp. 75–90; S. F. Scott, “The French Revolution and the Professionalization of the French Officer Corps”, in *On Military Ideology*, eds. M. Janowitz and J. Van Doom (Rotterdam University Press, 1971), pp. 18 ff.

¹⁶⁴ Katherine Chorley, *Armies and the Art of Revolution* (1943; reprint ed., Boston: Beacon Press, 1973), pp. 138–139.

Всем известно, что созыв Генеральных штатов послужил не решением финансового кризиса королевства, а шагом к революции. Факты относительно этого шага не вызывают сомнений, вопросы остаются лишь к интерпретации. Многие историки французской революции утверждают, что созыв Генеральных штатов привел к революции, потому что он выдвинул капиталистическую буржуазию, или же верхушку третьего сословия, на национальную политическую арену¹⁶⁵. Это произошло, когда разразились споры о том, проводить ли Штаты традиционным образом, с голосованием по сословиям, или же более унифицированным образом, с поголовным голосованием. Конечно, это спор имел решающее значение. Тем не менее многое говорит в пользу того, что его значение было не в противопоставлении одного класса или сословия другому. Оно скорее состояло в том, что данный спор углубил паралич административной системы Старого порядка и привел к ее распаду – тем самым оставив господствующий класс уязвимым перед подлинным социально-революционным воздействием низовых протестов.

В 1788 г. и начале 1789 г. господствующий класс Франции был практически един в стремлении добиться менее абсолютистского, более представительного национального правительства. Но не все были согласны относительно принципов, которые должны были точно определять, кто именно будет представлен и с какими институциональными полномочиями¹⁶⁶. Созыв Генеральных штатов с неизбежностью выдвинул на первый план именно эти вопросы, относительно которых в господствующем классе потенциально были самые большие разногласия. Дело в том, что Генеральные штаты не были уже установленным представительным институтом, действующим в целях примирения разнообразных интересов внутри господствующего класса. Напротив, Штаты пришлось создавать с нуля, привлекая представителей из мешанины сообществ, групп и корпоративных органов, из которых состояло французское общество в 1789 г. В условиях, когда «традиционные» правила последний раз применялись в 1614 г., сам процесс формирования Генеральных штатов развязал бесчисленные конфликты интересов и норм. Это было особенно верно в отношении богатых, привилегированных слоев, с их сложными подразделениями по членству в сословиях, степени знатности, видам собственности, региональным связям, принадлежности к городу или деревне, профессиональным интересами и т. д.

Более того, поскольку широкие группировки в начале 1789 г. заняли ту или иную сторону в споре о посословном или поголовном голосовании, противниками традиционной конституции и сторонниками унифицированного Национального собрания (которое включало бы голосующих индивидуально представителей всех трех сословий) были не только представители третьего сословия, но и изрядная доля дворянства – с непропорционально большим количеством дворян, привыкших, от рождения и/или в соответствии с постоянным местом проживания, к городской жизни и культуре¹⁶⁷. На самом деле некоторые из главных вождей «революционной буржуазии третьего сословия» были аристократам¹⁶⁸. Это не должно удивлять, поскольку на ранней стадии революции на кону стояла не классовая или социально-сословная струк-

¹⁶⁵ Классическое выражение этого тезиса см. в: Georges Lefebvre, *The Coming of the French Revolution*, trans. R. R. Palmer (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1947), pt. II.

¹⁶⁶ Конечно, различные секторы господствующего класса позднего Старого порядка, как представляется, были намного более едины в основной посылке – жажде национальных представительных учреждений для привилегированных, – нежели различные группы дворян и чиновников, участвовавшие во Фронде 1648–1653 гг. К XVIII в. само существование объединенного, национального французского государства стало восприниматься как нечто само собой разумеющееся, тогда как привилегированные группы, участвовавшие во Фронде, занимали фундаментально противоречивые позиции за или против централизованного государства как такового.

¹⁶⁷ J. Murphy and P. Higonnet, “Les Deputes de la Noblesse aux Etats Generaux de 1789”, *Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine* 20 (April-June 1973), pp. 230–247.

¹⁶⁸ Elizabeth L. Eisenstein, “Who Intervened in 1788? A Commentary on The Coming of the French Revolution”, *American Historical Review* 71:1 (October 1965), pp. 77–103.

тура (только народные восстания поставили бы ее под угрозу), но структура государственного управления. К тому же система представительства, которая делала бы упор на богатстве, образованности и широком общественном престиже, несомненно представлялась наиболее обоснованной из всех именно *благородным* с городскими корнями и космополитическими связями. Таким образом, они, что вполне объяснимо, были дальше от патриархальных, сельских дворян, намеревавшихся возродить феодальную политическую конституцию, чем от представителей третьего сословия, выходцы их которого почти неизменно были из больших и малых городов.

В таком случае классовых противоречий или делений исключительно по сословным линиям и не требовалось, чтобы запустить революцию: было вполне достаточно многоаспектных политических разногласий среди правящего класса. Эти конфликты сначала парализовали, а затем разрушили административную систему Старого порядка – которая, в конце концов, никогда не базировалась на чем-либо, кроме рутинных действий различных корпоративных органов управления и обладателей покупных должностей, координируемых королем, министрами и *интендантами*. Когда в 1788 и 1789 гг. эти группы и индивиды начали пререкаться между собой о том, как должны формироваться представительные органы и какие жалобы должны быть изложены королю, открылись двери для выражения народного недовольства. Лидеры господствующего класса действительно поощряли возрастающее участие народа, обращаясь к городским народным слоям за поддержкой в борьбе за «свободу», по-разному определяемую. В эти игры играли сначала парламенты, а затем сторонники Национального собрания.

К лету 1789 г. результатом этого стала «муниципальная революция, приобретающая национальный размах волна политических революций в больших и малых городах по всей Франции, включая, разумеется, и прославленное „взятие Бастилии в Париже“»¹⁶⁹. В условиях одновременного политического и экономического кризиса 1788–1789 гг.¹⁷⁰ толпы ремесленников, лавочников, поденщиков и рабочих скитались по городам в поисках оружия и зерна, требуя хлеба и свободы¹⁷¹. Энергичные лидеры либеральной революции, сторонники Национального собрания, формировали новые муниципальные власти, смещая служащих, назначенных королевской администрацией или лояльных ей, и рекрутировали более респектабельных из участников народных протестов в ряды городских ополчений. В свою очередь, ополчения служили противовесом королевской армии и помогали охранять порядок и собственность в городах. Так, к началу лета 1789 г. раздоры в рядах господствующего класса по поводу форм представительства завершились победой Национального собрания в Париже и его разнообразных либеральных городских сторонников по всей Франции. Эту победу сопровождал стремительный переход контроля над средствами управления и принуждения от обычно централизованной королевской администрации в децентрализованное ведение различных больших и малых городов, в основном контролируемых сторонниками Национального собрания.

Конечно, муниципальная революция оказалась лишь началом революционного процесса во Франции, который вскоре пошел вглубь: от антиабсолютистских конституционных реформ к более фундаментальным социальным и политическим трансформациям. Поэтому борьба низших классов (и прежде всего крестьянства, которое никто из господствующего класса не приглашал ввязываться в перепалку) получила свою собственную динамику и логику. К тому же без королевской администрации дворянство, в особенности сельское, не имело защиты от восстаний снизу. Но это уже вопросы, которые будут рассмотрены в последующих главах. Пока

¹⁶⁹ О муниципальной революции см. в особенности: Lynn A. Hunt, “Committees and Communes: Local Politics and National Revolution in 1789”, *Comparative Studies in Society and History* 18:3 (July 1976), pp. 321–346; George Rudé, “The Fall of the Bastille”, in *Paris and London in the Eighteenth Century* (New York, Viking Press, 1973), pp. 82–95.

¹⁷⁰ Природа французского экономического кризиса 1788–1789 гг. будет рассмотрена в главе 3.

¹⁷¹ George Rudé, *The Crowd in the French Revolution* (New York: Oxford University Press, 1959), chs. 4, 12, 13.

же мы должны покинуть Францию и перейти к исследованию возникновения революционного политического кризиса в позднеимперском Китае.

Китай под властью маньчжуров: от Поднебесной империи до падения имперской системы

От конфликтов и столкновений европейской системы государств, к которым Франция Бурбонов давно приспособилась, пока не встретила со своим революционным возмездием, мы переходим к другому, отдаленному, самодостаточному миру с единым гегемонистским центром. До XIX в. Китай был центром богатой цивилизации, истоки которой уходили в прошлое более чем на два тысячелетия – цивилизации, воплощенной в социально-политической структуре с более чем шестивековой историей почти полной преемственности. Проблемы обороны от внешних сил для этого имперского государства, оседлавшего обширную аграрную страну, состояли преимущественно в отражении нападений или подчинении конкурирующих народов на азиатских сухопутных границах, тогда как вторжения с моря либо игнорировались, либо с ними легко разделялись. С течением столетий правители традиционного Китая становились все более успешными в этих делах. Иноземцы могли захватывать командные посты династического правления, но китайская имперская система продолжала функционировать¹⁷². Действительно, Цин (1644–1911), династия чужеземцев-маньчжуров, китаизированного племени из южной Маньчжурии, была свидетелем апогея, а также окончательного краха этой замечательной системы.

К концу правления императора Цяньлуна (1736–1796 гг.) границы китайской империи простирались далее, чем когда-либо до или после этого: на запад до Или и границ Русского Туркестана, на юго-запад до Гималаев и пограничных государств Индии. Тибет был усмирен и поставлен под контроль; Аннам был в вассальной зависимости, и остальная часть Юго-Восточной Азии посылала дань; и Корея вновь была частью китайской сферы влияния¹⁷³.

Вплоть до XIX в. в Поднебесной империи преобладали мир и порядок, экономическое развитие и культурное совершенствование. Затем агрессивная, экспансионистская, индустриализующаяся Европа вытолкнула Китай из его блистательной автономии в мир конкурирующих национальных государств и империалистических вторжений. Но перед тем как обсуждать, когда и почему наступили революционные последствия, рассмотрим логику Старого порядка саму по себе. Поскольку, как и в случае с Францией Бурбонов, именно сочетание необычного давления извне и особенностей внутренней структуры и развития привело китайский Старый порядок к революционному политическому кризису.

Социально-политическая структура позднеимперского Китая может быть представлена как взаимное проникновение двух «миров»:

1) аграрной экономики и общества деревень, вовлеченных в рыночные сети местного масштаба;

2) имперской государственной администрации, которая рекрутировала и нанимала образованных индивидов, знания которых подтверждались с помощью сложной экзаменационной системы. Каждая из этих сфер в аналитических целях может быть представлена самостоятельно, хотя важно с самого начала иметь в виду, что ни одна из них не функционировала изо-

¹⁷² Общую историю вопроса см. в: Mark Elvin, *The Pattern of the Chinese Past* (Stanford: Stanford University Press, 1973); Wolfram Eberhard, *A History of China*, 3rd ed. (Berkeley: University of California Press, 1969).

¹⁷³ Frederic Wakeman, Jr., "High Ch'ing: 1683–1839", in *Modern East Asia: Essays in Interpretation*, ed. James B. Crowley (New York: Harcourt, Brace and World, 1970) pp. 4–5.

лированно от другой. В действительности их взаимопроникновение создало и поддерживало особый господствующий класс – китайских джентри¹⁷⁴.

Аграрная экономика и общество

В позднеимперские времена китайское сельское хозяйство ни в каком смысле не было «феодалным», поскольку не существовало сеньоров с юридическими правами на подати или труд крепостных, как в докапиталистической Европе. Для китайского сельского хозяйства также не были характерны большие, возделываемые самими хозяевами поместья. Напротив, земля была во владении, сдавалась в аренду, покупалась и продавалась почти всегда небольшими участками. Подавляющее большинство китайцев, по меньшей мере 80 %, были крестьянами и занимались сельским хозяйством, жили в деревнях из нескольких сотен семей, каждая из которых обрабатывала участки земли, которыми владела, или брала в аренду, или и то и другое¹⁷⁵.

Не вызывает сомнения, что экономическое неравенство в Китае в значительной степени выражалось в различиях во владении землей¹⁷⁶. В масштабах всей страны примерно 40 % сельскохозяйственных земель сдавалось в аренду помещиками. Около 30 % занимавшихся сельским хозяйством семей были исключительно арендаторами, и 20 % сдавали в аренду часть своих земель, оставляя 50 % участков разных размеров для собственного пользования. Но большую роль играли региональные различия: в центральной части и на юге Китая доля арендуемых земель была выше, тогда как на севере и северо-западе – значительно ниже. Также существовали внутрорегиональные различия между отдельными областями. В общем и целом, сдача земли в аренду могла быть выгодной только в тех областях, где транспортировка, особенно по воде, позволяла поставлять зерно на рынки за пределы тех мест, где оно выращивалось. В Северном Китае, где основными посевными культурами были пшеница и просо, транспортировка была значительно труднее, не говоря уже о том, что урожайность была намного ниже, чем в рисоводческих внутренних районах Южного и Центрального Китая.

На самом деле в аграрном Китае была заметно развита торговля, хотя страна в целом не была интегрирована на основе рыночных отношений. Трудности транспортировки означали, что торговля была несбалансированной и фрагментированной на тысячи местных рынков, где большинство продаж сельскохозяйственной продукции было ограничено «несколькими десятками миль в диаметре»¹⁷⁷. «Торговля на дальние расстояния в основном поставляла предметы роскоши китайским джентри и предметы необходимости в города Китая»¹⁷⁸. Она охватывала только 7–8% всей сельскохозяйственной продукции. Но местная и региональная торговля была очень важна. Дело в том, что хотя крестьяне и выращивали большую часть своего продовольствия, они все-таки зависели от периодически действующих рынков того, что Уильям СкINNER называл «стандартным рыночным городом», чтобы продать от одной до двух пятых урожая и получить деньги, необходимые для уплаты налогов, покупки ремесленных изделий, а также развлечений и религиозных служб. «Насколько можно судить, китайский крестьянин

¹⁷⁴ От англ. gentry – мелкопоместное дворянство. – Прим. пер.

¹⁷⁵ Albert Feuerwerker, *The Chinese Economy, ca. 1870–1911*, Michigan Papers in Chinese Studies, no. 5 (Ann Arbor: Center for Chinese Studies, University of Michigan, 1969), p. 15. На самом деле 80 % – вероятно, минимальная оценка доли крестьян в населении Китая до 1911 г.

¹⁷⁶ Исходные данные для этого и предшествующего параграфа взяты из: Dwight H. Perkins, *Agricultural Development in China, 1368–1968* (Chicago: Aldine, 1969); John Lossing Buck, *Chinese Farm Economy* (Chicago: University of Chicago Press, 1930); R. H. Tawney, *Land and Labour in China* (1932; reprint ed., Boston: Beacon Press, 1966).

¹⁷⁷ Perkins, *Agricultural Development*, p. 115. Факты о торговле, приведенные в этом параграфе, взяты из 6-й главы книги Перкинса.

¹⁷⁸ Perkins, *Agricultural Development*, p. 172.

жил в самодостаточном мире: это был мир не деревни, но стандартного рыночного сообщества»¹⁷⁹, включающего от 12 до 18 деревень. Подобно этому, состоятельные семьи часто жили в рыночных городах¹⁸⁰, которые снабжали их предметами роскоши и обеспечивали возможности для очень выгодных вложений в ремесленные производства или, прежде всего, в содержание ломбардов и ростовщичество. Подобные инвестиции обеспечивали важное дополнение к низким доходам, которые богатые семьи получали от одной только сдачи земли в аренду, и представляли собой важный механизм присвоения прибавочного продукта в позднеимперском Китае¹⁸¹.

Государство

Богатые семьи обычно стремились участвовать, путем государственной службы, в космополитической и универсальной сфере китайской жизни, недоступной для крестьянских масс. Учитывая локальный и фрагментированный характер огромной китайской аграрной экономики, только имперское государство (сконцентрированное на преемственности местных или иностранных династий, способных завоевывать и удерживать свои позиции благодаря военной доблести) объединяло Китай в единое общество. Династия была главным элементом централизованной, авторитарной и протобюрократической административной структуры, на службе у которой состояло (при Цин) около 40 000 чиновников¹⁸²:

Император правил как абсолютный и самовластный монарх, с окружением из различных членов императорской фамилии. На ступеньку ниже в административной иерархии был Большой совет и Большой секретариат, а ниже их – шесть (в конце концов превратившихся в двенадцать) департаментов или коллегий, примерно сопоставимых с министерствами. В подчинении центральной власти были провинциальные администрации, возглавляемые в каждом случае генерал-губернатором (императорским наместником) и/или губернатором. Вдобавок к этим чиновникам династия Цин установила в 11 провинциях пост, который «был сопоставим, но предшествовал» императорскому наместнику.

Каждая провинция делилась на более мелкие административные единицы под названием *тао*, или округа, возглавляемые интендантом. Каждый *тао* состоял из *фу*, руководимого префектом, и *фу*, в свою очередь, делились на департаменты (возглавляемые магистратами департамента) и *сянь* (возглавляемые магистратами). Все эти чиновники назначались сверху¹⁸³.

Чиновники назначались из среды образованных обладателей дипломов, которые, вместе со своими семьями, составляли менее 2 % всего населения. Большинство образованных сдавали организуемые государством экзамены по классическому конфуцианскому наследию, хотя меньшинство покупало степени и должности¹⁸⁴. Претенденты на государственные посты могли иметь практически любое происхождение, и действительно – выходцы из бедных семей иногда

¹⁷⁹ G. William Skinner, "Marketing and Social Structure in Rural China (Part I)", *The Journal of Asian Studies* 24:1 (November 1964), p. 32.

¹⁸⁰ Gilbert Rozman, *Urban Networks in Ch'ing China and Tokugawa Japan* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1973), p. 82.

¹⁸¹ Perkins, *Agricultural Development*, p. 184.

¹⁸² Franz Michael, "State and Society in Nineteenth-Century China", in *Modern China*, ed. Feuerwerker (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1964), p. 58.

¹⁸³ Цит. по: Robert C. North and Ithiel de Sola Pool, "Kuomintang and Chinese Communist Elites", in *World Revolutionary Elites*, eds. Harold D. Lasswell and Daniel Lerner (Cambridge: MIT Press, 1966), p. 320.

¹⁸⁴ Chung-li Chang, *The Chinese Gentry* (Seattle: University of Washington Press, 1955), pt. 2.

занимали даже высочайшие должности¹⁸⁵. Однако все должны были обладать, благодаря собственным ресурсам или помощи спонсоров, безопасностью и свободным временем для того, чтобы культивировать статусный ученый стиль жизни и посвящать себя (нередко в буквальном смысле слова всю свою жизнь) «экзаменационной жизни» конфуцианских *literati*¹⁸⁶¹⁸⁷. И доступ к фамильному состоянию, включавшему земельное богатство, был единственным верным и подходящим способом обеспечить себе требуемые безопасность и свободное время.

Имперские чиновники назначались из узкой группы верхушки образованного сословия – тех (примерно 14 % от всех *literati*), кто сдал провинциальные или столичные (общегосударственные) экзамены, или из числа тех, кто купил официальные звания вдобавок к степеням¹⁸⁸. Высший образованный слой составляли либо чиновники, либо чиновники в отставке, либо потенциальные чиновники. Благодаря своему опыту сдачи экзаменов большинство из них приобрело выходящие за пределы местности их проживания контакты и установки. Будучи назначенными на должности, высшие *literati* должны были подчиняться правилам, разработанным (даже ценой административной рациональности) с целью ослабить их сильные связи с домом и семьей и постепенно выковать из них единую элитную группу, принимающую точку зрения имперского государства на местные сообщества. Конечно, китайское государство никогда не пыталось навсегда вырвать чиновников из их родных местностей; регулярные периоды пребывания в отставке дома встраивались в официальные карьеры, к тому же связи с оставшимися на родине семьями, местными богатыми и высокопоставленными лицами оставались важны даже для наиболее успешных бюрократов. Но имперское государство и в самом деле пыталось обеспечить лояльность действующих чиновников. В соответствии с «правилом избегания» *literati*, назначенные губернаторами, магистратами и т. д., должны были руководить не теми провинциями, в которых они родились и росли. Им не позволялось нанимать членов своей семьи или жениться на женщине местного происхождения без официального разрешения. Чтобы предотвратить формирование устойчивых клик в их рядах, или их постоянных альянсов с местными элитами, чиновников часто перетасовывали и перемещали с места на место. И, наконец, двойственные юрисдикции и функции сознательно встраивались в провинциальные административные структуры, чтобы двор имел дублирующие возможности надзора и распоряжения¹⁸⁹.

Низшие *literati* (те, кто сдал только базовый экзамен на уровне префектуры или кто купил базовую степень) обычно не назначались на относительно немногочисленные имперские должности. Однако, наряду с богатыми людьми, усвоившими конфуцианский образ жизни, они обычно были наделены существенным престижем и властью в рамках местных сообществ¹⁹⁰. Дело в том, что имперская администрация никогда не достигала отдельной деревни или стандартного рыночного города. Чиновник базового уровня, магистрат графства (*сянь*) отвечал за территорию, на которой проживало до 200 000 человек¹⁹¹. Само собой разумеется, что он мог управлять такой территорией только сотрудничая с местным населением¹⁹². Один из приемов,

¹⁸⁵ Ping-ti Ho, *The Ladder of Success in Imperial China* (New York: Columbia University Press, 1962).

¹⁸⁶ Образованные люди, ученые, обладатели ученых степеней. – Прим. пер.

¹⁸⁷ Wakeman, “High Ch’ing”, in *Modern East Asia*, ed. Crowley, pp. 12–15; Chang, *The Chinese Gentry*, pt. 3.

¹⁸⁸ Chang, *The Chinese Gentry*, pt. 1. Богатые китайцы, как и богатые французы, могли деньгами проложить себе путь к государственным должностям. В Китае это осуществлялось путем покупки конфуцианских степеней, а также почетных и реальных государственных постов. Однако, даже несмотря на то что эта «система покупок» существенно распространилась в Китае середины XIX в. (когда династия испытывала напряжение и отчаянно нуждалась в денежных поступлениях), она никогда не была основным методом поступления на государственную службу, как это было с системой торговли должностями в абсолютистской Франции (см.: Chang, *The Chinese Gentry*, pt. 2, в особенности pp. 138–141).

¹⁸⁹ Michael, “State and Society”, in *Modern China*, ed. Feuerwerker, p. 66.

¹⁹⁰ Chang, *The Chinese Gentry*, pt. 1.

¹⁹¹ Michael, “State and Society”, p. 58.

¹⁹² В дополнение к ссылкам в сносках 89 и 90, см.: T’ung-tsu Ch’ii, *Local Government in China Under the Ch’ing* (Cambridge: Harvard University Press, 1962), ch. 10; Yuji Muramatsu, “A Documentary Study of Chinese Landlordism in Late Ch’ing and Early

который использовали все магистраты, состоял в найме множества низкостатусных клерков и помощников, которые вознаграждались отчасти выплатами со стороны самого магистрата, а отчасти взятками, вымогаемыми у местного населения. Вдобавок к этому местные *literati* и богатые конфуцианские помещики обычно сотрудничали с магистратом, к которому могли обращаться как к равному по статусу. В обмен на пониженные ставки налога для них самих и для их друзей местные влиятельные лица иногда помогали магистрату собирать земельный налог. Что более важно, магистрат обычно поощрял или позволял местным *literati* и богачам организовывать общинные службы (такие как ирригационные проекты, религиозные или клановые мероприятия, образование или местное ополчение) в обмен на плату, собираемую с местного крестьянства. Такие выплаты составляли важный источник доходов, особенно для низших *literati*. И конечно, местная администрация поддерживала права помещиков и кредиторов собирать арендную плату и долги.

Джентри

Таким образом, не сильно отличаясь от господствующего класса в дореволюционной Франции, господствующий класс джентри в имперском Китае одновременно опирался и на государственные должности, и на владение землей и движимым имуществом. Материальные ценности, передаваемые при поддержке государства займы или в аренду крестьянам, способствовали культивированию конфуцианского статусного стиля жизни. Имперское государство официально поддерживало конфуцианское образование с помощью экзаменационной системы и принимало некоторое меньшинство посвященных в чиновники. Доходы чиновников, так же как и плата, собираемая ими за организацию и управление делами местного сообщества, давали большие поступления по сравнению с теми, что можно было получить, просто владея землей¹⁹³. В итоге накапливаемые таким образом богатства частично реинвестировались в помещичье землевладение и ростовщичество, тем самым замыкая круг взаимозависимости между имперским государством и аграрным обществом, основанным на фрагментированной и стратифицированной частной собственности и локальной торговле.

Масса споров ведется вокруг вопроса о том, кто именно составлял «джентри» в дореволюционном Китае. Некоторые утверждают, что ими были те *индивиды*, которые занимали государственные должности и/или обладали конфуцианскими учеными степенями, тем самым отождествляя джентри с теми, кого я называю *literati*¹⁹⁴. Другие доказывают, что ими по сути были *богатые семьи*, особенно помещики¹⁹⁵. В той мере, в какой спор ведется не просто о терминах, исследователи различаются, по крайней мере имплицитно, в своем понимании существенной структуры Старого порядка. Было ли это в основе своей имперское государство с уникальной конфуцианской культурой и образовательной системой? Или же это было прежде всего разделенное на классы аграрное общество? Мое мнение заключается в том, что Китай Старого порядка был неразрывным сплавом того и другого. Господствующий земельный класс зависел от административно-военной поддержки имперского государства и возможностей трудоустройства в госаппарате. К тому же правящие династии зависели от влиятельных местных

Republican Kiagnan”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 29:3 (1966), pp. 566–599.

¹⁹³ Chang, *Income of the Chinese Gentry*; Michael, “State and Society”, in *Modern China*, ed. Feuerwerker; Perkins, *Agricultural Development*. Перкинс отмечает: «Поскольку доходы от земель были низкими, большинство помещиков делали свои состояния вне сельского хозяйства и владели землями, по сути, как легко и быстро реализуемыми активами и источником престижа» (р. 184). Владение должностями и торговля были основными способами сколотить состояние.

¹⁹⁴ В число исследователей, придерживающихся преимущественно этой позиции, входят Чан Чунли, Франц Майкл и Мэри С. Райт.

¹⁹⁵ В число исследователей, придерживающихся преимущественно этой позиции, входят Уильям Скиннер, Филип Кун, Фей Цяотун и Джон Кинг Фэрбенк.

представителей господствующего класса в том, что касалось контроля и извлечения ресурсов из того огромного, громоздкого аграрного пространства, каким был Китай. Из этой перспективы целесообразно утверждать, что ядром джентри были семейства помещиков, из числа которых вышли чиновники, обладавшие учеными степенями. Прочих, не имевших всех атрибутов джентри из этого набора (богатые семьи, в которых никто не обладал учеными степенями, или бедных *literati* и чиновников), необходимо рассматривать в качестве маргинальных членов господствующего класса, поскольку они также принадлежали к конфуцианской культуре, а их источники богатства были такими же, как у ядра джентри, и за счет этого они были причастны к некоторым аспектам его могущества¹⁹⁶. Существование и выживание джентри в качестве господствующего класса зависело от устремлений и способностей таких «маргинальных» членов получить недостающий атрибут из набора ядра класса. Действительно, на протяжении сотен лет до конца XIX в. китайская аграрная экономика процветала, тем самым позволяя семьям обогащаться и поддерживать претендентов на степени и официальные должности. И структура имперского государства переживала приход и уход династий, тем самым обеспечивая поддержку для местных представителей господствующих классов и исключительные возможности получения доходов для чиновников. Все это время китайские джентри, невзирая на подъем и упадок индивидов и семейств, процветали как класс, основанный на пересечении имперского государства и аграрной экономики.

Внешние вторжения и внутренние восстания

Тем не менее китайская империя все же пришла в упадок и рухнула, открыв дорогу к революционному уничтожению джентри, и нам нужно разобраться, как и почему это случилось. По сути Китай столкнулся с экстраординарным давлением зарубежных империалистических промышленных держав. Это случилось как раз когда долго вызревавшие внутренние процессы так расшатали систему изнутри, что становилось маловероятным, будто имперские власти станут или смогут эффективно отвечать на внешние угрозы.

В течение XIX в. Китай подвергался постоянно возрастающему давлению извне, беспрецедентному давлению¹⁹⁷. До середины XVIII в. европейские торговцы рассматривались как данники, наряду с другими реальными или символическими вассалами Китая. Затем, между серединой XVIII и серединой XIX в., ограниченная двусторонняя торговля между Китаем и иностранными купцами жестко регулировалась, контролировалась и облагалась налогом со стороны имперских властей с помощью того, что было известно как «кантонская система». Но с начала XIX в. Британия смогла подкрепить стремления своих граждан к «свободной торговле» по всему Китаю при помощи военной организации и техники, порожденных индустриализацией. Нанеся китайским силам решительное поражение на море в Опиумной войне 1839–1842 гг., Британия получила расширенные торговые права. Другие западные нации вскоре присоединились к ней в стремлении «открыть» Китай. Уступки в направлении свободной торговли, ограничения тарифов, экстерриториальная юрисдикция в быстро возрастающем числе договорных портов¹⁹⁸, правовой иммунитет для христианских миссионеров во внутренних районах – все это было навязано шаг за шагом, в договорах, следовавших за все новыми иностран-

¹⁹⁶ Фредерик Уэйкман прекрасно описывает то, как маргинальные джентри могли получать долю во власти ядра джентри, в своем эссе: Wakeman, “High Ch’ing”, in *Modern East Asia*, ed. Crowley, pp. 12–15.

¹⁹⁷ Исходные данные для этого параграфа взяты в: John K. Fairbank, Edwin O. Reischauer, and Albert M. Craig, *East Asia: Tradition and Transformation* (Boston: Houghton Mifflin, 1973), chs. 9, 16, 19–21; Frederic Wakeman, Jr., *The Fall of Imperial China* (New York: Free Press, 1975), chs. 7–9. См. также: Frances V. Moulder, *Japan, China and the Modern World Economy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), oh. 4.

¹⁹⁸ Договорные порты – порты, открытые для международной торговли в соответствии с положениями Нанкинского договора, который Цинская империя была вынуждена подписать после поражения в Первой опиумной войне в 1842 г. – Прим. пер.

ными вторжениями, стране, крайне не стремившейся к Западу и его образу жизни. К концу века империалистические вторжения приобрели еще более угрожающий поворот, поскольку всемирная погоня соперничающих индустриальных наций за колониями пришла на смену британскому «империализму свободной торговли». Первоначально бывшие данники китайской империи (включая Индокитай, Центральную Азию и Корею) были захвачены Францией, Россией и Японией. И наконец, соперничающие державы стали добиваться для себя больших «сфер влияния», используя «займы, железные дороги, взятые в аренду территории, пониженные земельные тарифы и права местной юрисдикции, местной политической системы и эксплуатацию горных разработок»¹⁹⁹. Само существование Китая как суверенного государства было поставлено под угрозу.

Только центральные власти империи могли запустить экономические и военные проекты, которые позволили бы Китаю отразить все более усиливающиеся покушения на его суверенитет²⁰⁰. Однако в позднем традиционном Китае реалии положения, в котором оказалось государство, препятствовали успеху каких-либо инициатив центра. По иронии истории, уже к концу XVIII в. династию Цин начали подрывать последствия мира, процветания и политического равновесия, которые царили, когда династия была на вершине своего могущества.

Прежде всего, быстрый рост населения сталкивался с ограничениями аграрной экономики. В неизменных институциональных рамках традиционная китайская экономика росла более или менее устойчиво в течение свыше 500 лет, начиная с XIV в. – главным образом в периоды мира и политической стабильности²⁰¹. Благодаря вводу в обработку новых земель и более интенсивному применению традиционной техники производство зерна на душу населения могло не отставать от роста населения, в среднем составлявшего 0,4 % в год, благодаря чему число жителей Китая возросло с 65–80 млн в 1400 г. до примерно 400 млн к середине XIX в. Торговля и ремесленное производство также не отставали и даже, возможно, имел место их реальный рост. Все это были блестящие достижения. Пока оставались новые земли для введения в обработку, традиционные китайские методы могли предотвращать сокращение среднего потребления продовольствия на душу населения. Но к XIX в. доступные новые земли стали иссякать. Традиционная экономика достигала пределов возможного роста, не создавая условий для спонтанного возникновения индустриального производства²⁰². Вследствие этого повышалась вероятность сельских беспорядков, особенно в тех регионах, где ход производства или торговли по тем или иным причинам нарушался.

К тому же имперские власти становились слабее в финансовом и административном отношении. Что касается финансов, то проблема была с земельным налогом. С 1712 г. были зафиксированы «навечно» квоты провинций от земельного налога (самого важного источника доходов империи до конца XIX в.)²⁰³. Первоначально, в момент расцвета династии Цин, это поддерживало равновесие вполне централизованной империи, которая сохранялась благодаря тонкому взаимодействию и балансировке локальных и региональных интересов. Но со временем Пекин лишался плодов роста продуктивности аграрной экономики. «Установленные

¹⁹⁹ Fairbank, Reischauer, and Craig, *East Asia*, p. 625.

²⁰⁰ Сравнительно-исторические данные об этом см. в: Alexander Gerschenkron, *Economic Backwardness in Historical Perspective* (Cambridge: Harvard University Press, 1962); Гершенкрон А. Экономическая отсталость в исторической перспективе. Москва: ИД «Дело» РАНХиГС, 2015; David S. Landes, “Japan and Europe: Contrasts in Industrialization”, in *The State and Economic Enterprise in Japan*, ed. William W. Lockwood (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1965); Barry Supple, “The State and the Industrial Revolution, 1700–1914”, in *The Fontana Economic History of Europe*, ed. Carlo M. Cipolla, vol. 3, *The Industrial Revolution, 1700–1914* (London: Collins/Fontana, 1973), pp. 301–357.

²⁰¹ Perkins, *Agricultural Development*.

²⁰² Perkins, *Agricultural Development*; Elvin, *Pattern of Chinese Past*, ch. 17; Feuerwerker, *Chinese Economy, ca. 1870–1911*, chs. 1–3.

²⁰³ Этот параграф основывается на материалах: Yeh-chien Wang, *Land Taxation in Imperial China, 1750–1911* (Cambridge: Harvard University Press, 1973); Feuerwerker, *Chinese Economy, ca. 1870–1911*, ch. 5.

законом поступления, зарегистрированные пекинскими властями, существенно не изменились между 1712 г. и третьей четвертью XIX в.»²⁰⁴. Тем временем местные и провинциальные доходы непропорционально возросли, так как неформальные сборы и подати были увеличены, чтобы компенсировать слабину, оставленную статичными требованиями Пекина.

Ослабление контроля государственной администрации над страной было тесно связано с финансовой статичностью Пекина. Имперская бюрократия не поспевала за ростом экономики и населения, предоставляя окружным магистратам управлять все большими объемами местного населения²⁰⁵. В результате магистраты были вынуждены все больше опираться на местные силы и неформальных лидеров. И они вытягивали свое вознаграждение в виде растущих неофициальных сборов и доли от налоговых поступлений, выжимаемых из все более обремененного и малоземельного крестьянства.

Неудивительно, что с конца XVIII в. династия Цин сталкивалась с крестьянскими восстаниями²⁰⁶. Первым было восстание Белого Лотоса в 1795–1804 гг. Затем, через несколько десятилетий внутренних беспорядков, разразились три масштабных и хорошо организованных восстания: Тайпинское восстание 1850–1864 гг., Восстание наньцзюней 1853–1868 гг. и Дунганское восстание сепаратистов-мусульман северо-запада с 1850-х до 1870-х гг. В китайской истории восстания, подобные этим, вспыхивали с определенной периодичностью. Часто они свидетельствовали об упадке династии и о возникновении новой, готовой ее сменить – благодаря таким циклическим явлениям, как коррупция чиновников, неэффективность армии и растущего земельного неравенства. Подобные традиционные причины также внесли свой вклад в подрыв Цин после 1800 г., но на этот раз они были усугублены и осложнены воздействием долгосрочных экономических и демографических трендов, рассмотренных выше. Более того, восстания подстегнули империалистические вторжения Запада. Так, величайшим и наиболее открыто революционным из восстаний середины XIX в. было восстание Тайпинов, возникшее в разгар экономических беспорядков на юго-востоке, серьезно усугубленных последствиями Опиумной войны. Антиконфуцианская идеология этого восстания отчасти была вдохновлена пропагандой христианских миссионеров²⁰⁷.

Разумеется, восстания XIX в. оказали огромное воздействие на китайское государство. Ресурсы Пекина были истощены в борьбе с ними, а налоговые поступления уменьшились из-за ужасных экономических и человеческих потерь, вызванных крупномасштабной гражданской войной. Более того, открытые вызовы ее верховной власти отвлекли внимание Цин от растущих угроз извне. Тем не менее династия Цин выдержала восстания и казалась полностью «восстановившейся»²⁰⁸. Однако маньчжурские правители выжили лишь ценой внутренних институциональных преобразований и перераспределений власти, сделавших их еще более неспособными адекватно справляться с зарубежными вызовами. В конечном итоге эти институциональные и властные сдвиги сделали династию и имперскую систему уязвимой для свержения господствующим классом джентри.

Действительно, для объяснения падения Старого порядка важнее всего в восстаниях было то, каким образом их подавили. Династия Цин была не в состоянии сдержать или подавить восстания при помощи своих собственных имперских постоянных армий. После многих

²⁰⁴ Ibid., p. 64.

²⁰⁵ Wakeman, *Fall of Imperial China*, pp. 105–106.

²⁰⁶ Прекрасный краткий обзор дан Альбертом Фойерверкером в его работе: *Feuerwerker, Rebellion in Nineteenth-Century China*, Michigan Papers in Chinese Studies, no. 21 (Ann Arbor: Center for Chinese Studies, University of Michigan, 1975).

²⁰⁷ О Тайпинском восстании см. в особенности: Yu-wen Jen, *The Taiping Revolutionary Movement* (New Haven: Yale University Press, 1973); Philip A. Kuhn, *Rebellion and Its Enemies in Late Imperial China* (Cambridge: Harvard Press, 1970); Vincent Y. C. Shih, *The Taiping Ideology: Its Sources, Interpretations, and Influences* (Seattle: University of Washington Press, 1967); Frederic Wake-man, Jr., *Strangers at the Gate: Social Disorder in South China, 1839–1861* (Berkeley: University of California Press, 1966).

²⁰⁸ Mary C. Wright, *The Last Stand of Chinese Conservatism: The Tung-Chih Restoration, 1862–1874* (Stanford: Stanford University Press, 1957).

десятилетий мира в XVIII в. они разложились и стали неэффективными; более того, им вредила слабость имперских финансов и администрации. Так как имперских армий оказалось недостаточно, задача борьбы с восстаниями легла на плечи местных отрядов самообороны, возглавляемых джентри, а затем и региональных армий, руководимых местными кликами джентри, обладавшими доступом к ресурсам деревень и рекрутам с довольно больших территорий²⁰⁹. Одновременно лишая повстанцев возможности рекрутировать крестьян и разбивая их в заранее подготовленных сражениях, армии, возглавляемые джентри, в конце концов восстановили порядок для Цин. Но в силу роли, сыгранной джентри в подавлении восстаний, династия была вынуждена дать формальное одобрение правительственным практикам, которые шли в разрез с давно устоявшейся политикой контроля над чиновниками и поддержания положения имперской администрации по отношению к местным джентри. Права собирать новые налоги, удерживать большие доли уже установленных налогов и поддерживать порядок были разработаны провинциальными или местными чиновниками, которые часто освобождались от исполнения «правила избегания» относительно места жительства и ротации. Даже после того, как восставшие были побеждены, региональные клики джентри, одержавшие над ними победу, сохранили за собой большую часть административного и военного контроля над своими территориями²¹⁰.

Одним из решающих результатов этого смещения баланса власти к провинциальным и местным джентри было усугубление финансовой слабости Пекина. После середины XIX в. из-за новых косвенных налогов традиционный земельный налог стал менее важным; но имперские власти в конечном счете не выиграли. Имперская береговая таможня была создана и управлялась в иностранных интересах для упорядочения пошлин на внешнюю торговлю. Сами пошлины были несправедливы и установлены навязанными Китаю договорами, но большая часть собранных доходов направлялась в Пекин. Другой налог, *likin*, сбор, взимаемый с производства, транспортировки и/или продажи товаров, давал намного больше дохода. Но только около 20 % средств от этого налога отсылалась в Пекин. Остальная часть оставалась у местных и провинциальных властей, которые собирали налоги и удерживали большую часть из них. В последние годы династии Цин все государственные доходы в Китае, согласно оценкам ученых, составляли лишь около 7,5 % валового национального продукта. А пекинское правительство получало лишь около 40 % от этого, или примерно 3 % ВВП²¹¹. Одновременно все доходы Пекина, вне зависимости от их происхождения, все больше направлялись на выплату контрибуций, навязанных победителями в японо-китайской и Боксерской войнах, а также на обслуживание иностранных займов (изначально полученных для оплаты военных расходов, контрибуций и ограниченного железнодорожного строительства).

Большие ресурсы контролировались провинциальными, местными властями и господствующим классом в целом. Но «с точки зрения возможного экономического развития, в противоположность поддержанию текущего экономического равновесия... эти ресурсы были почти полностью нейтрализованы»²¹². Значительная часть местных и провинциальных доходов шла прямоком в карманы сборщиков налогов и чиновников; остальное распределялось таким образом, что тоже подкрепляло порядок, основанный на господстве джентри. В рамках этого порядка предприятия создавались только для получения краткосрочных шальных прибылей, а военная сила была под подозрением за счет угрозы ее выхода из-под контроля джентри.

²⁰⁹ Kuhn, *Rebellion and Its Enemies*, в особенности pts. III, IV.

²¹⁰ Kuhn, *Rebellion and Its Enemies*, pt. VI; Feuerwerker, *Rebellion*, ch. 5; Stanley Spector, *Li Hung-chang and the Huai Army: A Study in Nineteenth-Century Chinese Regionalism* (Seattle: University of Washington Press, 1964).

²¹¹ Эти цифры и данные абзаца в целом основываются на материалах: Feuerwerker, *Chinese Economy*, ca. 1870–1911, pp. 64–72.

²¹² Feuerwerker, *Chinese Economy*, ca. 1870–1911, p. 63.

Таким образом, у позднеимперских китайских властей было совсем мало доходов для инвестиций в современный транспорт или индустриализацию, или для финансирования социальных и политических реформ, которые помогли бы усилить контроль центральной власти. Наряду с новизной внешней угрозы и неотложностью внутренних проблем отсутствие реальной возможности для Пекина взять инициативу в свои руки, по всей вероятности, объясняется еще и тем, что имперские чиновники медленно свыкались с необходимостью фундаментальных перемен. Действительно, первыми, кто стал экспериментировать с современными индустриальными и военными технологиями, были чиновники, связанные с региональными властными группировками²¹³. Но эти эксперименты носили слишком ограниченный по своим масштабам характер и были слишком некоординированными, чтобы успешно подготовить Китай к отражению натиска иностранных держав²¹⁴. Надеяться на успех в разрешении такой задачи можно было лишь при сильном руководстве центра.

Реформы и революция 1911 г.

Неотвратимость проблем Китая стала наконец осознаваться в результате унижительного поражения Китая в войне 1895 г. с Японией – другим восточным обществом, которое после 1860-х гг. быстро синтезировало ряд своих традиционных институциональных форм с западными индустриальными и военными достижениями. Хотя некоторые китайские провинциальные лидеры экспериментировали с вооружениями и арсеналами западного типа, японо-китайская война была проиграна государству, которое имперский Китай всегда (с переменным успехом) воспринимал как своего вассала! Поражение встряхнуло многих китайцев и привело их к выводу, что только существенные структурные реформы, осуществляемые центральной властью, могут спасти Китай от постоянного унижения на международной арене или даже от превращения в колонию. Общая империалистическая схватка за сферы влияния после 1895 г. еще больше укрепила их в этом выводе. Первоначальная попытка мандаринов-реформаторов подтолкнуть имперские власти к запуску реформ потерпела поражение после «ста дней» в 1898 г. из-за консервативного переворота, возглавляемого вдовствующей императрицей. Но через несколько лет после разгрома «Боксерского восстания» 1899–1901 гг. маньчжурские правители наконец однозначно встали на путь реформ. И высшие классы в целом становились сторонниками националистических реформ²¹⁵.

Между 1901 и 1911 гг. с поразительной скоростью принимались декреты о разнообразных реформах. Конфуцианская экзаменационная система была модифицирована и затем отменена в 1905 г.; современные школы, осуществляющие специализированное обучение новой государственной элиты в западном стиле, были учреждены на местах, в провинциях и Пекине. Студентам университетов давали стипендии для обучения за рубежом (первоначально в основном в Японии). Были созданы военные академии для подготовки современного офицерского корпуса. Специализированные министерства внутренних дел, военных дел, образования, иностранных дел и торговли были учреждены в Пекине, под предлогом руководства и координации программ провинциальных бюро. Была установлена подлинно общенациональная бюджетная система. И наконец, цинские власти с 1908 г. создавали представительные собрания, с помощью которых надеялись мобилизовать джентри в поддержку имперского правительства, придав им совещательные функции. Местные собрания были учреждены немедленно, в

²¹³ Feuerwerker, *China's Early Industrialization*, pp. 12–16; Ralph L. Powell, *The Rise of Chinese Military Power, 1895–1912* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1955), ehs. 1, 2.

²¹⁴ См., напр.: John L. Rawlinson, “China's Failure to Coordinate her Modern Fleets in the Late Nineteenth Century”, in *Approaches to Modern Chinese History*, eds. Albert Feuerwerker, Rhoads Murphey, and Mary C. Wright (Berkeley: University of California Press, 1967), pp. 105–132.

²¹⁵ Wakeman, *Fall of Imperial China*, ch. 10.

1908 г., выборы в провинциальные собрания были намечены на 1909 г., национальное собрание должно было быть избрано в 1910 г. и разработать план учреждения парламента в 1917 г.²¹⁶

Но «реформа погубила правительство реформаторов»²¹⁷. Новые меры еще больше подорвали уже ослабленную центральную власть и усугубили трения между джентри и маньчжурской автократией. Предпринятые на фоне процессов, развивавшихся в ходе восстаний и после них, реформы только послужили усилению региональных сил в противостоянии с центром. В среде студентов и офицеров, получивших современное образование, развились радикальные националистические взгляды, соединившие верность своим провинциям с враждебностью к «иностранной» маньчжурской династии²¹⁸. Офицеры и вооружение Новой армии были поглощены региональными армиями, существующими наряду с ней со времен восстаний; более того, получившие профессиональную подготовку офицеры были не слишком лояльны маньчжурским правителям и имперской системе²¹⁹. Попытки создать новые административные структуры в провинциях в противовес власти укрепившихся там губернаторов потерпели неудачу, поскольку новые чиновники и функционеры были встроены в уже существовавшие местные клики²²⁰. Губительнее всего оказалось то, что группировки местных джентри и купцов быстро превратили новые представительные собрания в формальные платформы для защиты «конституционалистской» программы либеральных, политически децентрализующих реформ²²¹.

Как отметил Е. П. Янг, «политизация джентри, возможно, является определяющей чертой [китайской истории] в начале двадцатого века»²²². В отличие от европейского дворянства, китайские джентри никогда не имели корпоративных организаций для представительства своих классовых интересов в рамках государства. Допускалось только индивидуальное участие, и защита групповых интересов зависела от межличностных связей, простирающихся до имперской бюрократии. Но все изменилось после 1900 г. По мере углубления общенационального кризиса местные образованные группы, организованные джентри, стали публично подавать петиции центральным властям. Затем джентри получили формальное классовое представительство в рамках вновь созданных местных и провинциальных представительных собраний, которые избирались на основе очень ограниченного права голоса, что благоприятствовало *literati* и джентри. Политически пробужденные империалистическими угрозами и не дождавшиеся ответа маньчжурской династии на них, джентри стали испытывать националистические чувства. Еще более знаменательным было то, что «конституционализм», явно ассоциировавшийся с могуществом иностранных держав, стал рассматриваться джентри как идеальная программа для соединения их провинциально и локально сфокусированных классовых интересов с национальной независимостью и прогрессом. Хотя династия Цин рассчитывала, что представительные собрания останутся совещательными, их участники из господствующего класса и избиратели намеревались создать конституционную парламентскую монархию с существенной автономией для местных и провинциальных властей, которые контролировали джен-

²¹⁶ Wakeman, *Fall of Imperial China*, ch. 10; Fairbank, Reischauer, and Craig, *East Asia*, pp. 726–737; Mary C. Wright, ed., *China in Revolution: The First Phase, 1900–1913* (New Haven: Yale University Press, 1968), introduction.

²¹⁷ *Ibid.*, p. 50.

²¹⁸ См., напр.: Mary Backus Rankin, *Early Chinese Revolutionaries: Radical Intellectuals in Shanghai and Chekiang, 1902–1911* (Cambridge: Harvard University Press, 1971).

²¹⁹ Yoshihiro Hatano, “The New Armies”, in *China in Revolution*, ed. Wright, pp. 365–382; Powell, *Rise of Military Power*.

²²⁰ John Fincher, “Political Provincialism and the National Revolution”, in *China in Revolution*, ed. Wright, pp. 185–226.

²²¹ P’eng-yuan Chang, “The Constitutionals”, in *China in Revolution*, ed. Wright, pp. 143–184.

²²² Ernest P. Young, “Nationalism, Reform, and Republican Revolution: China in the Early Twentieth Century”, in *Modern East Asia: Essays in Interpretation*, ed. James B. Crowley (New York: Harcourt, Brace and World, 1970), p. 166. Бэкграундом для этого параграфа служат: *Ibidem*; Chang, “The Constitutionals”, in *China in Revolution*, ed. Wright; Chuzo Ichiko, “The Role of the Gentry: an Hypothesis”, in *China in Revolution*, ed. Wright, pp. 297–318; Edward J. Rhoads, *China’s Republican Revolution, The Case of Kwangtung, 1895–1913* (Cambridge: Harvard University Press, 1975), в особенности chs. 6–9.

три. К 1910 г. многие организованные группы джентри были организационно и идеологически готовы к защите своей децентрализирующей программы перед маньчжурской династией. Когда избранные члены национального собрания встретились в этом году в Пекине (якобы для того, чтобы распланировать будущие постепенные изменения), вместо этого они потребовали немедленного учреждения парламентского правления. Как и можно было ожидать, маньчжурские правители отказались пойти на это, и раздосадованные представители джентри вернулись в свои родные провинции, где вскоре многие из них сыграли ключевую роль в свержении династии.

Прямой толчком к революции 1911 г. послужила еще одна попытка реформ, предпринятая центральной властью. Это были реформы, которые весьма серьезно угрожали финансовым интересам провинциальных группировок джентри. Чтобы обеспечить координацию планирования и контроля над медленно развивающейся национальной системой железных дорог, Пекин в 1911 г. решил выкупить все железнодорожные проекты у провинциальных групп, которые инвестировали в них. В ответ на это

... возникло движение в «защиту железных дорог», особенно в Сычуани [одной из западных провинций], с массовыми митингами и слезными петициями в Пекин, но все впустую. Сычуаньское движение набрало обороты. Были закрыты магазины и школы. Уплата налогов прекратилась. В поддержку были мобилизованы крестьяне. В сентябре правительство отправило войска, расстреляло демонстрантов и схватило лидеров джентри. Обычно это были люди со средствами, обладатели ученых степеней, помещичье-купеческого происхождения, обучавшиеся в Японии, игравшие выдающуюся роль в провинциальном собрании и вложившие немало денег в железнодорожные проекты. Их направленный против чужаков лозунг: «Сычуань для сычуаньцев», отражал интересы провинциального правящего класса, который отныне приобрел ожесточенный настрой против династии²²³.

«Сычуаньское восстание... спровоцировало широкомасштабные беспорядки, которые часто не были связаны с железнодорожной проблемой»²²⁴. Чтобы подавить сычуаньские беспорядки, в провинцию были введены внешние войска, в том числе из Учана, где 10 октября произошел следующий акт драмы. Когда 9 октября был раскрыт антиманьчжурский заговор ряда офицеров, некоторые части Новой армии в Учане восстали, чтобы спасти офицеров от возмездия. Маньчжурский губернатор испугался и бежал, а командующий отрядом был включен в местное революционное руководство²²⁵. Пример Учанского восстания оказался заразительным. В течение нескольких последующих недель «ключевую роль в провозглашении независимости одной провинции за другой сыграли два основных элемента: военные губернаторы, командовавшие силами Новой армии, и дворянско-чиновничье-купеческие лидеры провинциальных собраний»²²⁶.

Вслед за восстаниями 1911 г. дворянские и купеческие конституционалисты, бывшие чиновники, офицеры Новой армии и молодые радикалы, связанные с малочисленным и в целом неэффективным революционным альянсом Сунь Ятсена, лавировали в целях установления новой политической системы и смещения маньчжурских правителей. Хотя многие отдавали предпочтение политической децентрализации, все якобы хотели усилить, а не ослабить национальное единство Китая. Сначала была провозглашена республика; затем генерал Юань

²²³ Fairbank, Reischauer, and Craig, *East Asia*, pp. 738–739.

²²⁴ Wright, ed., *China in Revolution*, p. 50.

²²⁵ Fairbank, Reischauer, and Craig, *East Asia*, p. 748; Vidya Prakash Dutt, “The First Week of Revolution: the Wuchang Uprising”, in *China in Revolution*, ed. Wright, pp. 383–416.

²²⁶ John K. Fairbank, *The United States and China*, 3rd ed. (Cambridge: Harvard University Press, 1971), p. 192.

Шикай попытался восстановить имперскую систему и стать императором. Но в течение пяти лет стало очевидно, что единственным реальным достижением революции 1911 г. было то, что она нанесла решающий удар имперским административным и политическим институтам, которые уже разлагались изнутри из-за узурпаций власти провинциальными чиновниками, офицерами и не состоящими на государственной службе джентри. Также стало очевидным, что никакая альтернативная национальная политическая система не смогла тотчас же прийти на смену разрушенной имперской²²⁷. Дело в том, что группировки господствующего класса, которые временно объединились для свержения маньчжурских правителей, были изначально разделены по своим лояльностям и политически не согласны в вопросе о том, какого рода институты должны были заменить абсолютную монархию. Единственной устойчивой тенденцией 1911 г. и после был тот факт, что провинциальные и местные джентри устанавливали гражданское правление в союзе с военными губернаторами. Однако в течение нескольких лет власть переходила преимущественно в руки региональных «модернизированных» военных машин, затем последовала междоусобная борьба «милитаристов», когда армии и их командующие соперничали за территории и материальные ресурсы. Вплоть до 1949 г. никто не мог положить конец этому положению вещей. Все это обрекло Китай на бесконечные неурядицы. Но, как мы увидим в последующих главах, эти же условия также создали возможность для действий, направленных на консолидацию национально-революционной власти на основе поддержки и мобилизации низшего класса.

Сходства Франции и Китая

На данном этапе стоит остановиться, чтобы осмыслить поразительные параллели между генезисом революционного кризиса во Франции Бурбонов и позднеимперском Китае. Несмотря на то что эти страны были очень далеки друг от друга в культурном плане, и геополитически, а крах их старых порядков произошел в очень разные времена и при различных обстоятельствах, все же в них присутствовали сходные структурные схемы и в ходе их крушения срабатывали сходные причинно-следственные процессы.

И во французском *ancien régime*, и в позднеимперском Китае относительно процветающие землевладельчески-торговые высшие классы получили коллективный политический вес в рамках административных механизмов монархических автократий и сопротивления им. Во Франции XVIII в. все более социально сплоченный высший класс, со своим богатством, резко возросшим из-за роста рент и возможностей присвоения, поддерживаемых монархическим государством, мог выразить свои политические устремления через *parlements* и другие корпоративные органы, переплетенные с автократической королевской администрацией. В позднем традиционном Китае джентри усилились и гарантировали свое процветание в качестве рантье, достигнув после восстаний середины XIX в. фактически полного контроля над большими секторами имперской администрации. Затем они получили коллективное представительство в собраниях, учрежденных в 1908–1910 гг. маньчжурскими реформаторами.

Подобным же образом революционные кризисы возникли и во Франции, и в Китае потому, что старые порядки подверглись беспрецедентному давлению со стороны более развитых зарубежных стран, а также потому, что это давление привело к внутренним политическим конфликтам между самодержавием и господствующими классами. Эскалация международной конкуренции и унижения, особенно связанные с неожиданными поражениями в войнах

²²⁷ О последствиях 1911 г. см.: Young, “Nationalism, Reform, and Republican Revolution”, in *Modern East Asia*, ed. Crowley, pp. 171–175; Wakeman, *Fall of Imperial China*, pp. 248–255; C. Martin Wilbur, “Military Separatism and the Process of Reunification under the Nationalist Regime, 1922–1937”, in *China in Crisis*, eds. Ping-ti Ho and Tang Tsou (Chicago: University of Chicago Press, 1968), vol. 1, bk. 1, pp. 203–263. Аргументы, выдвинутые в этом абзаце, получают развитие в главе 7.

(таких как Семилетняя война и японо-китайская война), вдохновили самодержавные власти предпринять реформы, которые, как они полагали, способствовали бы мобилизации и координации национальных ресурсов, чтобы справиться с крайними затруднениями на международной арене. Однако торгово-землевладельческие высшие классы потеряли бы богатства и могущество, если бы центральные власти преуспели в своих рационализирующих реформах. И не случайно, что и французских *privilégiés*²²⁸, и китайских джентри привлекал союз между парламентаризмом и мощью нации в более современных зарубежных странах; они надеялись сохранить свои собственные классовые интересы и будущее национальное благополучие одновременно.

В итоге автократические попытки модернизационных реформ сверху во Франции и Китае (в особенности налоговая реформа во Франции и реорганизация железных дорог в Китае) спровоцировали согласованное политическое сопротивление хорошо организованных сил господствующего класса. В свою очередь, поскольку эти силы обладали рычагами влияния в рамках формально централизованных бюрократических машин монархических государств, их сопротивление дезорганизовало эти машины. Автократическая власть была уничтожена. К тому же, поскольку группировки господствующего класса с различной институциональной и географической базой (к примеру, *parlements*, провинции, представительные органы и муниципалитеты во Франции; провинции, армии и собрания в Китае) конкурировали в попытках установить новое политическое устройство, монархические администрации и армии безвозвратно распались. Следовательно успешная оппозиция господствующих классов автократическим реформам непреднамеренно открыла путь углублению революций как во Франции, так и в Китае.

Имперская Россия: отсталая великая держава

Во Франции Бурбонов и в Китае при маньчжурских правителях революционные кризисы происходили во времена формального мира, по мере того как автократические попытки реформ и мобилизации ресурсов встречали сопротивление политически могущественных господствующих классов. Напротив, в царской России революционные кризисы развились только под непосредственным воздействием военных поражений. Перед своей гибелью Российская империя выдерживала усилившуюся конкуренцию со стороны более развитых наций европейской системы государств и даже провела ряд серьезных модернизационных реформ. Поэтому исследование дореволюционной России должно принимать во внимание характерные отличия, так же как и сходства ее с теми паттернами, которые мы уже отметили для Франции и Китая при Старом порядке.

Имперское государство и крепостническая экономика

Некогда «восточная деспотия», конкурирующая в борьбе за выживание и сюзеренитет на обширной евразийской равнине, к XIX в. Россия была одной из доминирующих держав в европейской системе государств. Ее знали и боялись как «жандарма Европы», заклятого врага революционных надежд в Центральной Европе. Несомненно, имперская Россия была более милитаризованной и бюрократизированной автократией, чем Франция Бурбонов и позднейшей имперской Китаю²²⁹. Имперская Россия родилась во время выдающегося правления Петра

²²⁸ Привилегированных (фр.). – Прим. пер.

²²⁹ Исходные данные о Российской империи взяты в основном из: Marc Raeff, *Imperial Russia, 1682–1825* (New York: Alfred A. Knopf, 1971), chs. 1–3. О всех перипетиях истории страны при Старом порядке см.: Richard Pipes, *Russia Under the Old Regime* (New York: Scribner, 1974); Пайпс Р. *Россия при старом режиме*. Москва: Захаров, 2004.

Великого (1682–1725 гг.). Используя рудименты личной самодержавной власти, которую укрепил в средневековом Московском государстве Иван Грозный, Петр внезапно ввел последние европейские технологии сухопутной и морской войны и рационального административного господства. По иронии, эти методы смогли быстро создать в России более эффективную государственную власть, чем где-либо в Европе, поскольку Московия была свободна от социально-политических помех, создаваемых феодальным наследием западноевропейского типа. Петр «соединил методы, взятые с Запада, с... традицией деспотического восточного режима. Взрывоопасная смесь, созданная подобным образом, вознесла до небес могущество России»²³⁰. Прежде всего были созданы новые и многочисленные постоянные армии. Они были укомплектованы крепостными и дворянами, принудительно рекрутированными на пожизненную службу, с оружием, которым обеспечивали основанные государством шахты и мануфактуры, и финансировались с помощью высоких прямых и косвенных налогов, включая хлебный налог на каждого взрослого крестьянина мужского пола. Эти налоги, в свою очередь, собирались находящимся в процессе становления государственным аппаратом, укомплектованным занятыми на постоянной основе чиновниками. Как только новые российские армии нанесли поражение внушительным силам Швеции в Северной войне 1700–1721 г., Россия утвердилась как многонациональная империя и великая держава в европейской системе государств. Неважно, что ее аграрная экономика продолжала оставаться относительно отсталой: созданная реформами Петра и деятельностью его преемников бюрократическая государственная власть использовалась для того, чтобы это компенсировать этот недостаток. Кроме того, огромная российская военная машина была современно оснащенной технически и оставалась таковой до тех пор, пока не сказались военные последствия индустриализации XIX в. в Западной Европе²³¹.

Что касается социально-экономического базиса, на котором было построено и держалось имперское государство, то в течение всего срока доминирования в Европе Россия оставалась аграрным обществом, основанным на крепостничестве. К середине XIX в. только 8-10 % примерно 60-миллионного населения империи жило в городах²³². В обширной сельской местности миллионы крепостных крестьян, прикрепленных к своим деревням и поместьям, принадлежавшим дворянам или государству, трудились преимущественно на выращивании зерновых культур. Преобладали две системы помещичье-крестьянских отношений, часто совмещавшиеся в одном поместье или перемешанные в пределах одной местности, но также в некоторой степени регионально дифференцированные. В плодородных черноземных губерниях крепостные отработывали *барщину* или трудовые повинности в *поместье* в течение половины недели или более. В менее плодородных провинциях более распространенной была уплата *оброка*, так как это позволяло помещикам получать долю несельскохозяйственных доходов крепостных от ремесла или промышленного труда²³³.

Если неплодородной была лишь часть земли, то климат был неизменно суровым и непредсказуемым, а организация и технические приемы сельского хозяйства – примитив-

²³⁰ Ludwig Dehio, *The Precarious Balance: Four Centuries of the European Power Struggle*, trans. Charles Fullman (New York: Vintage Books, 1962), p. 961.

²³¹ Thomas Esper, "Military Self-Sufficiency and Weapons Technology in Muscovite Russia", *Slavic Review* 28:2 (June 1969), p. 208.

²³² Моя оценка процентной доли городского населения отражает цифру Джерома Блюма (Jerome Blum, *Lord and Peasant in Russia: From the Ninth to the Nineteenth Century* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1961), p. 326), скорректированную в сторону повышения, чтобы она согласовывалась с несколько более низкими цифрами для всего населения, взятыми в: Gilbert Rozman, *Urban Networks in Russia, 1750–1800* (Princeton, N.J.: Princeton University Press), pp. 98–99. Я использую численность населения, приводимую Розманом, потому что она представляется основанной на более современных и тщательных исследованиях.

²³³ См.: Blum, *Lord and Peasant*, ch. 20; Geroid Tanquary Robinson, *Rural Russia Under the Old Regime* (1932; reprint ed., Berkeley: University of California Press, 1969), chs. 3, 4; Peter I. Lyashchenko, *History of the National Economy of Russia*, trans. L. M. Herman (New York: Macmillan, 1949), ch. 17; Лященко П. И. *История русского народного хозяйства*. Москва, Ленинград: Госиздат, 1927. Гл. XIV.

ными. Агротехника базировалась на трехпольной системе, чересполосице, общинной обработке земли, немногочисленном и тощем рабочем скоте и легких пахотных орудиях. «Низкие урожаи и частые неурожаи не были чем-то из ряда вон выходящим вследствие этих многочисленных недостатков»²³⁴. На самом деле «оценки... первой половины XIX в. показывают, что урожаи были примерно такими же, как в прошлом веке или даже как в XVI в. и, вероятно, даже раньше»²³⁵.

Тем не менее экономика не стагнировала. Действительно, технические приемы и урожайность оставались в большинстве своем неизменными, за исключением некоторых вновь заселяемых территорий на юге и юго-востоке, где развивалось капиталистическое сельское хозяйство в поместьях, применяющих труд наемных работников. Тем не менее экстенсивный рост сельскохозяйственного производства шел в ногу с ростом численности населения России, которое между 1719 и 1858 гг. увеличилось почти вчетверо (примерно с 16 до 60 млн человек)²³⁶. Хотя к империи было присоединено более 2 млн квадратных миль, большую часть роста населения давал естественный прирост в старых областях государства. В черноземных губерниях расширялась площадь пахотных земель, а в нечерноземных областях крестьяне получали дополнительные доходы благодаря ремесленному производству или занятости в торговле и промышленности²³⁷. Таким образом, в то время как сельское хозяйство демонстрировало экстенсивный рост, ремесленные и цеховые производства быстро росли на протяжении XVIII в. и далее в XIX в. К тому же развитие торговли шло и на локальном, и на межрегиональном уровне²³⁸. Однако, несмотря на все это, до постройки в последней трети XIX в. сети железных дорог транспортные проблемы оставались непреодолимым препятствием для сколько-нибудь фундаментального прорыва к индустриализации в столь обширной стране²³⁹.

Крымское фиаско и реформы сверху

Но индустриализация *уже* трансформировала экономики Западной Европы в начале XIX в., и ее последствия вскоре заставили имперскую Россию перейти к обороне на жизненно важных международных аренах войны и дипломатии. Учитывая геополитическое положение России, сохранение выхода к Черному морю было основным ее интересом²⁴⁰. Поэтому неудивительно, что цепь событий, которые привели имперскую Россию от доминирования в Европе после революций 1848 г. к дезинтеграции и революции 1917 г., началась именно с бесславного поражения империи в ограниченной по своим масштабам Крымской войне 1854–1855 гг. В этом конфликте за военно-морской контроль над Черным морем и влияние в слабеющей Османской империи Россия противостояла Франции и Англии без поддержки своих бывших союзников, австрийцев. В итоге основной театр военных действий развернулся вокруг осады российской крепости Севастополь в Крыму. Российский Черноморский флот, состоявший из «парусных судов, не идущих ни в какое сравнение с паровыми боевыми кораблями могущественных союзнических эскадр»²⁴¹, пришлось затопить у входа в Севастопольскую бухту.

²³⁴ Blum, Lord and Peasant, p. 329.

²³⁵ Ibid., p. 330.

²³⁶ Rozman, Urban Networks in Russia, pp. 98–99; также смотри мои комментарии в сноске 131.

²³⁷ Blum, Lord and Peasant, ch. 15.

²³⁸ Cyril E. Black et al., The Modernization of Japan and Russia (New York: Free Press, 1975), p. 76. См. также: Lyashchenko, History of National Economy, chs. 15–20; Лященко П. И. История русского народного хозяйства. Гл. XV–XX.

²³⁹ Alexander Baykov, "The Economic Development of Russia", Economic History Review. 2nd ser. 7:2 (1954), pp. 137–149.

²⁴⁰ Roderick E. McGrew, "Some Imperatives of Russian Foreign Policy", in Russia Under the Last Tsar, ed. Theofanis George Stavrou (Minneapolis, Minn.: University of Minnesota Press, 1969), pp. 202–229.

²⁴¹ Sergei Pushkarev, The Emergence of Modern Russia, 1801–1917; trans. Robert H. McNeal and Tova Yedlin (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1963), p. 121.

Затем, после месяцев упорной обороны, Севастополь пал в руки англо-франко-оттоманского экспедиционного корпуса, насчитывающего 70 000 человек. Мирный договор сократил российское влияние на Ближнем Востоке и лишил страну военно-морского присутствия на Черном море:

Положение России в Европе изменилось... В 1815 г. Россия выступала сильнейшей державой на континенте. После 1848 г. она казалась далеко опередившей остальные сухопутные державы: российское первенство превратилось в российское господство. Крымская война низвела Россию до положения одной из нескольких великих держав. Пока в Санкт-Петербурге правили цари, Россия никогда вновь не поднималась на высоту 1815 г.²⁴²

Но поражение России в Крымской войне имело еще более важные последствия для внутренней политики, поскольку оно подчеркнуло недостатки имперской системы, основанной на крепостническом, доиндустриальном обществе. По словам Александра Гершенкрона,

...Крымская война нанесла серьезный удар по безмятежным представлениям о могуществе России. Она продемонстрировала, что Россия уступает во многих важнейших отношениях. Российские военные корабли не могли сравниться с английскими и французскими, и их превращение в подводные рифы стало единственным их полезным применением; примитивные российские ружья были основной причиной поражения в решающем сражении на Альме; снабжение солдат и подвоз боеприпасов в осажденный Севастополь были осложнены убогой транспортной системой. Ход войны и ее итоги оставили у императора и высшей бюрократии ощущение, что страна опять слишком сильно отстала от развитых держав Запада. Для восстановления лидирующих военных позиций России была необходима... определенная степень модернизации²⁴³.

Как и ранее в русской истории, ощущение военной отсталости подстегнуло серию реформ, проводимых сверху – имперскими чиновниками при поддержке царя. Была поставлена осознанная цель изменить – либерализовать – русское общество настолько, чтобы оно могло оказывать лучшую поддержку великодержавной миссии государства, но не настолько, чтобы эта либерализация вызвала сколько-нибудь опасную политическую нестабильность. Первый раунд реформ, разработанных и осуществленных в течение жизни поколения после Крымской войны, предусматривал учреждение современной правовой системы, введение всеобщей воинской повинности и расширение профессиональной подготовки офицеров, создание представительных собраний *земств* и муниципальных *дум* с очень тщательно описанными полномочиями местного самоуправления²⁴⁴. Но наиболее важной из всех реформ было освобождение миллионов российских крепостных, процесс, начатый согласно первому из ряда царских указов 1861 г.

Как и в случае с другими реформами Александра II, предпринятыми немедленно вслед за крымским фиаско, целью отмены крепостного права было в большей степени высвободить социальные силы таким образом, чтобы это было совместимо со стабильностью и военной эффективностью имперского государства, чем непосредственно способствовать экономиче-

²⁴² Hugh Seton-Watson, *The Russian Empire, 1801–1917* (New York: Oxford University Press, 1967), p. 331.

²⁴³ Alexander Gershenkron, "Russian Agrarian Policies and Industrialization, 1861–1917", in *Continuity in History and Other Essays* (Cambridge: Harvard University Press, 1968), p. 143.

²⁴⁴ О реформах в целом см.: Seton-Watson, *Russian Empire*, ch. 10. О реформах местных властей и их ограничениях см.: S. Frederick Starr, *Decentralization and Self-Government in Russia, 1830–1870* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1972), pts. III–VI.

скому развитию²⁴⁵. Прежде всего юридическое равенство для крестьянства было необходимым условием создания современной армии из граждан, подлежащих призыву. Более того, имели место вполне реальные опасения в связи с восстаниями крепостных, которые участвовали во время Крымской войны и после нее. Царь Александр провозгласил, что «лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само собою начнет отменяться снизу»²⁴⁶. Таким образом, он преодолел явную оппозицию большинства помещиков-дворян и потребовал от них законодательной отмены крепостного права. От землевладельцев закон потребовал предоставить крестьянам права на значительную долю сельскохозяйственных земель, которые большинство дворян были склонны рассматривать как исключительно свою собственность.

Здесь необходимо сделать паузу, чтобы рассмотреть эти российские события 1850-х и 1860-х гг. в сравнительной перспективе. Из такой перспективы совершенно неудивительно, что унижительные последствия военного поражения от более экономически развитых наций ускорили кризис российского имперского государства и подтолкнули к запуску модернизационных реформ. Однако что действительно удивительно – так это то, что данные реформы (особенно отмена крепостного права), которые прямо нарушали сложившиеся экономические интересы землевладельческого дворянства, были *успешно осуществлены* имперскими властями. Конечно, группы интересов господствующего класса критиковали реформы, следовавшие за Крымской войной, как с точки зрения их содержания, так и с точки зрения авторитарных и бюрократических способов их разработки и осуществления²⁴⁷. Но в то время как оппозиция монархическим реформам со стороны господствующего класса вылилась в отмену самодержавия и разрушение структур имперских государств во Франции в 1787–1789 гг. и в Китае в 1911 г., в России XIX в. ничего подобного не произошло. Чтобы понять почему, необходимо рассмотреть положение русского земельного дворянства.

Слабость земельного дворянства

Российские дворяне-землевладельцы были зажаты между слегка коммерциализованной крепостной экономикой и имперским государством. Как и французский высший класс собственников, и китайские джентри, этот российский господствующий класс присваивал прибавочный продукт и напрямую у крестьянства, и косвенно – через вознаграждения за службу государству. Но, что резко контрастировало с господствующими классами Франции и Китая, российское земельное дворянство было экономически слабым и политически зависимым от властей империи.

Даже до Петра Великого общественное положение российского дворянства и сохранение богатства отдельных семей из поколения в поколение почти полностью зависели от службы царям²⁴⁸. Крепостное право в России закрепилось не усилиями коммерциализирующихся помещиков (как в значительной части Восточной Европы после 1400 г.), но скорее под давлением осуществляющих централизацию царей, намеревавшихся извлекать из населения доста-

²⁴⁵ См. аргументацию Гершенкрона в: Alexander Gerschenkron, “Agrarian Policies”, in *Continuity in History*. Я во многом опираюсь на эту статью.

²⁴⁶ Цитата из речи Александра II в 1856 г. приводится по: Lazar Volin, *A Century of Russian Agriculture* (Cambridge: Harvard University Press, 1970), p. 40; Реформа 1861 г. в истории России (к 150-летию отмены крепостного права): сб. обзоров и рефератов / Отв. ред. В. С. Коновалов. М., 2011. С. 71.

²⁴⁷ Terence Emmons, *The Russian Landed Gentry and the Peasant Emancipation of 1861* (Cambridge: Cambridge University Press, 1968).

²⁴⁸ Этот абзац базируется прежде всего на: Pipes, *Russia Under the Old Regime*, chs. 2–4, 7; Пайпс Р. Россия при старом режиме. Гл. 2–4, 7.

точные ресурсы для поддержания обороны и экспансии в опасной геополитической среде²⁴⁹. Традиционно свободных русских крестьян необходимо было прикрепить к земле, чтобы они создавали облагаемый налогом прибавочный продукт; соответственно, царям нужны были офицеры и чиновники для службы в государственных организациях, необходимых для ведения внешних войн и социального контроля внутри страны. На протяжении веков земли не состоящих на государственной службе дворян и князей экспроприировались и передавались в качестве вознаграждения за службу новому классу – служилому дворянству. По мере того как это происходило, цари предпринимали усилия, чтобы гарантировать, что новые группировки независимых земельных аристократов не появятся. Служилые дворяне получили права на крепостные «души» и поместья. Тем не менее зачастую их владения не были сосредоточены в одной местности или даже в одной провинции, но были разбросаны по различным регионам империи. При таких условиях местная и региональная солидарность едва ли могла развиваться среди дворян.

Петр Великий довел это положение дел до крайности. Он сделал пожизненную военную или гражданскую службу обязательной для каждого взрослого дворянина- мужчины. Принужденные к постоянной службе, перебрасываемые по команде из центра с должности на должность и из региона в регион, дворяне стали совершенно зависимой от государства группой. «Так или иначе, они усвоили милитаристскую, бюрократическую и глобальную точку зрения, которая господствовала в российской общественной жизни»²⁵⁰. Служба стала «базовыми нормативными рамками для индивидуальных и социальных отношений, и... служебный ранг стал единственно признаваемой формой аристократического статуса»²⁵¹.

В течение XVIII в. российские дворяне в конце концов были освобождены от пожизненной государственной службы, и их права частной собственности были полностью и официально подтверждены. Новая возможность уходить в отставку со служебных постов привела к некоторому возрождению социальной и культурной жизни в провинциях. Тем не менее положение дворян не очень изменилось²⁵². Все более ориентированные на стиль жизни западноевропейского высшего класса, российские дворяне по-прежнему тяготели к занятости в госаппарате как единственно надежной возможности жить в больших городах, получать жалованье и дополнительные денежные вознаграждения вдобавок к очень низким доходам, которые большинство из них получало от крепостнических имений, дробившихся с каждым поколением. Даже если бы дворяне были культурно готовы к тому, чтобы с головой уйти в управление сельским хозяйством, российская аграрная экономика предоставляла (на большей части территории страны) мало стимулов для такого альтернативного образа жизни. Более того, русские помещики мало что могли вложить в сельское хозяйство (или любые иные экономические предприятия), поскольку они, по европейским стандартам, были очень бедны. Примерно четыре пятых из них (83 % в 1777 г., 84 % в 1834 г., 78 % в 1858 г.) имели менее сотни «душ» (взрослых крепостных мужского пола) – минимум, который рассматривался в качестве необходимого для того, чтобы вести сельский образ жизни²⁵³. И в борьбе за поддержание минимально соответствующего образа жизни помещики не только стекались на государственные должности, но и погружались во все большие долги – отчасти были должны частным финанси-

²⁴⁹ Blum, *Lord and Peasant*, chs. 8-14; Richard Hellie, *Enserfment and Military Change in Muscovy* (Chicago: University of Chicago Press, 1971).

²⁵⁰ Raeff, *Origins*, p. 50.

²⁵¹ *Ibid.*, p. 119.

²⁵² Моя интерпретация положения дворянства в имперской России во многом основывается на: Marc Raeff, *Imperial Russia*, chs. 3-5; Raeff, *Origins of the Russian Intelligentsia: The Eighteenth Century Nobility* (New York, Harcourt, Brace and World, 1966). В отличие от прочих авторов (например, Блюма), Раев не верит, что могущество класса дворян по отношению к самодержавию значительно возросло в течение XVIII в.

²⁵³ Raeff, *Imperial Russia*, p. 96; Blum, *Lord and Peasant*, pp. 368-369, ch. 19 в целом.

стам, но в основном государству. Таким образом, к 1860 г. 66 % всех крепостных были «заложены» их владельцами-дворянами в специальных государственных кредитных учреждениях²⁵⁴.

Однако ирония состояла в том, что пока помещики продолжали зависеть от имперского государства, самодержавие становилось менее зависимым от земельного дворянства. Петр Великий открыл четкий путь вертикальной мобильности и получения дворянских званий для образованных выходцев из народа, занятых на государственной службе²⁵⁵. Неизбежным результатом рекрутирования незнатных выходцев из церковных и городских семейств было формирование страты служилого дворянства, отделенного от земли, тогда как растущее число семейств образованных не-дворян на государственной службе давало еще больше желающих занять бюрократические должности. Вследствие этого современное количественное исследование приходит к заключению, что

...к концу XVIII в. гражданские служащие в центральном аппарате, а к 1850-м гг. также и в провинциях, были по своей сути самовоспроизводящейся группой. Новые члены приходили из дворянства, уже в значительной степени отделившегося от земли, и из сыновей незнатных государственных служащих (военных, гражданских и церковных)²⁵⁶.

Университетское образование и готовность посвятить себя пожизненной служебной карьере были ключом к успеху на государственной службе. Земельные владения, как представляется, имели значение лишь постольку, поскольку способствовали вышеназванному, и ни в коем случае не были единственным средством.

В середине XIX в. отсутствие крепостных не было препятствием для бюрократического успеха. Из всей группы дворян [из числа исследуемых чиновников] семьи примерно 50 % вообще не владели крепостными... Особенно важно то, что не владевшие крепостными дворяне ни в коей мере не были ограничены нижними чинами. Даже на самом верху более 40 % семей служилых дворян вообще не владели крепостными²⁵⁷.

Результатом всех этих обстоятельств вместе взятых было то, что у русских дворян было мало автономной классовой или поместной политической власти. Если дворяне задерживались в провинции надолго, то они были бедны, охвачены заботами и почтительны по отношению к государственным чиновникам. Тем временем на государственной службе старое дворянство соперничало в борьбе за жизненно важный карьерный рост с теми, которые были возведены в дворянское звание и стремились стать служилыми дворянами. Продвижения в карьере достигали благодаря монаршему одобрению или неукоснительному следованию приказам и порядку. Коллективная политическая инициатива или протесты не поощрялись и не получали содействия. В отличие от Франции при Старом порядке, не существовало давно установившихся органов представительства, квазиполитических корпораций или торговли должностями, которые давали бы господствующему классу рычаги влияния в имперской государственной структуре. В этом отношении Россия имела больше сходства с имперским Китаем (до 1908 г.). Тем не менее, даже когда китайская имперская система была на пике своего развития, джентри имели намного больше политической власти и независимости на местном уровне, нежели российское дворянство. К тому же в старорежимной России не было ничего сопоставимого с ростом власти джентри на локальном и провинциальном уровне в Китае после 1840 г. Будь

²⁵⁴ Blum, *Lord and Peasant*, p. 380.

²⁵⁵ Raeff, *Imperial Russia*, ch. 3.

²⁵⁶ Walter M. Pintner, "The Social Characteristics of the Early Nineteenth-Century Russian Bureaucracy", *Slavic Review* 29:3 (September 1970), p. 442.

²⁵⁷ *Ibid.*, pp. 438–439.

то помещики, или чиновники, или и те и другие одновременно (а численность этой последней категории все более сокращалась), – дворяне в имперской России пользовались меньшей самостоятельностью, автономией политической власти. Они, напротив, зависели от своих индивидуальных отношений с централизованной государственной машиной и от общей приверженности самодержавия к сохранению стабильности существующего общественного порядка.

На этом фоне мы можем завершить наш анализ отмены крепостного права. Слабость российского землевладельческого дворянства с очевидностью объясняет, почему оно не смогло предотвратить отмену крепостного права и тем более – свергнуть самодержавно-имперскую политическую систему во имя аристократической или либеральной «конституционалистской» программы. Если бы российское земельное дворянство обладало экономической силой и политико-административными рычагами влияния на имперское государство, сколько-нибудь сопоставимыми с силой и рычагами влияния французского и китайского господствующих классов, то вполне вероятно, что революционный политический кризис мог возникнуть в России в 1860-е гг. Вместо этого царское самодержавие действительно преуспело в проталкивании реформ, предпринятых им вследствие унижительного крымского поражения – включая реформы, которые существенно противоречили экономическим интересам и социальным привилегиям дворян-помещиков²⁵⁸.

Тем не менее было бы ошибкой заключить, что раз российские дворяне-землевладельцы не могли предпринять эффективного политического наступления против реформаторского самодержавия, то они вообще не имели влияния на закон об отмене крепостного права. На самом деле землевладельческое дворянство смогло оказать существенное влияние, особенно в процессе политической реализации закона. Так произошло просто из-за самого существования владеющего крепостными господствующего класса и из-за внутренних ограничений эффективной власти имперского государства, учитывая существующие институциональные отношения между ним и сельской классовой структурой.

Как мы уже отметили, главная цель самодержавия при освобождении крепостных заключалась в стабилизации имперского правления. Вследствие этого царь и его чиновники решили не только даровать личную, законодательно закрепленную «свободу» крестьянам, но и наделить их собственностью на значительные площади земли, которую они обрабатывали²⁵⁹. Было очевидно, что оставить бывших крепостных без собственности было бы гарантией восстаний и равно ненавистных неурядиц быстрой и массовой пролетаризации. Но кто должен был решать, как много (и каких) земель передать бывшим крепостным? Механизмы реализации политики деления собственности между дворянами и крестьянами приходилось разрабатывать от одного участка земли к другому. Поскольку исторически сложилось так, что юрисдикция империи заканчивалась за воротами дворянских крепостнических поместий (где ответственными за поддержание порядка и сбор налогов оставались дворяне или их доверенные лица), только сами дворяне и их управляющие обладали детальными сведениями о структуре и функционировании крепостнической экономики, что было существенно для реализации закона об отмене крепостного права во многих местностях. Следовательно, у императорских властей не оставалось иного выхода, кроме как поручить разработку точного распределения земель, передаваемых бывшим крепостным, дворянским комитетам²⁶⁰. Естественно, такая организация дел гаранти-

²⁵⁸ В своей книге «The Russian Landed Gentry and the Peasant Emancipation of 1861» Теренс Эммонс подчеркивает, в какой степени мелкопоместное дворянство действительно оказывало коллективное политическое влияние в 1860-е гг. Но, согласно собственному описанию Эммонса, первоначальный импульс к проведению реформ и поощрению участия в них мелкопоместных дворян исходил от царской власти. К тому же в итоге либеральные и реакционные группы дворянства не смогли осуществить какие-либо пункты своих политических программ, которые расходились с интересами или программами власти. Я полагаю, что все свидетельства, которые приводит Эммонс, согласуются с предлагаемыми мною формулировками. Мои отличия в акцентах интерпретации связаны с тем, что я рассматриваю Россию в компаративистской перспективе.

²⁵⁹ Gerschenkron, “Agrarian Policies”, in *Continuity in History*, pp. 140–147, 159–165.

²⁶⁰ Gerschenkron, “Agrarian Policies”, in *Continuity in History*, pp. 165–174.

рвала, что дворяне смогут максимально реализовать свои собственные интересы в пределах общего манифеста об отмене крепостного права. Именно это они и сделали. В плодородных регионах крестьянам оставили минимум земель, тогда как в менее плодородных их принудили платить выкупные платежи за максимальные владения. Более того, везде крестьяне оказались отрезанными от доступа к критически важным ресурсам, таким как вода, или пастбища, или леса, которые они затем вынуждены были арендовать у своих бывших хозяев.

Таким образом, проведенные в пределах существующих аграрных классовых отношений, крестьянские реформы не могли расчистить путь к быстрой модернизации российского сельского хозяйства – и не сделали этого²⁶¹. Крестьянам оставили недостаточное количество земли, обложили разорительными выкупными платежами, которые пришлось платить властям на протяжении многих десятилетий. Для дворян также едва ли были стимулы инвестировать в модернизацию сельского хозяйства, потому что в их законном владении оставили около 40 % земель и доступ к дешевому труду, в то время как большая часть доставшегося им финансового подарка – выкупных платежей (выплачиваемых государством дворянам) пошла на покрытие ранее накопившейся задолженности (в основном самому государству). Чего, бесспорно, отменой крепостного права достичь удалось, – так это более прямого и монопольного контроля имперского государства над крестьянством и присвоением доходов от сельского хозяйства. Царский режим оттолкнул в сторону земельное дворянство. Но помещики, хотя и значительно ослабленные отменой крепостного права и ее последствиями, остались господствующим классом в преимущественно застойной аграрной экономике. Вследствие этого экономика служила тормозом при последующих попытках империи способствовать экономическому росту. А земельное дворянство оставалось потенциальной целью крестьянских восстаний.

И наконец, следует отметить, что российское несслужилое дворянство, включая оставшихся помещиками, было по-прежнему всецело политически бессильным по отношению к самодержавию после 1860-х гг. Так и было, несмотря на создание в рамках реформ этого десятилетия *земств* – местных и провинциальных представительных органов, в которых дворянство было представлено непропорционально широко. В лучшем случае *земства* становились плацдармами местной социальной и культурной деятельности, обеспечивая при очень ограниченной финансовой базе образовательные и экономически-консультативные услуги, а также предоставляя социальное обеспечение. Но этот сектор услуг, контролируемый избираемыми правлениями, рос бок о бок с иерархией (а не внутри нее) политической власти в обществе. Дело в том, что имперские власти сохраняли монополию на управление и принуждение и продолжали с помощью налогов забирать большую часть прибавочного продукта в сельском хозяйстве. *Земства* же бюрократия империи терпела только в той степени, в какой они не бросали вызов контролю центральных властей и их прерогативам в определении государственной политики²⁶².

Интересно и познавательно сопоставить это с представительными собраниями высшего класса, учрежденными в Китае (1908–1910 гг.). Там джентри уже де-факто пользовались большим административным и военным влиянием, в то время как имперские власти были финансово слабы и не осуществляли эффективного контроля из центра. Таким образом, в Китае новые собрания послужили тому, чтобы дать коллективное политическое выражение власти, которая уже была у господствующего класса. Но в старорежимной России самодержавие занимало столь сильные позиции, что смогло эффективно создать полностью ограниченные пред-

²⁶¹ Об условиях Освобождения и его последствиях см.: Ibidem; Volin, *A Century of Russian Agriculture*, chs. 2–3; Robinson, *Rural Russia*, chs. 5–8.

²⁶² См. ссылки в сноске 143; Alexander Vucinich, “The State and the Local Community”, in *The Transformation of Russian Society*, ed. Cyril E. Black (Cambridge: Harvard University Press, 1960), pp. 191–208.

ставительные органы, какие маньчжурские правители намеревались, но не смогли учредить в Китае. Российские *земства*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.